

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

**ДЕКАБРИСТЫ  
ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
СИБИРИ**



ГЕОГРАФИЗ · 1991



*Людия Тукновская*

**ДЕКАБРИСТЫ  
ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
СИБИРИ**



*Государственное издательство*  
**ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
*Москва ~1951*

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение . . . . .	5
Глава первая. «На берегу широкой Лены» . . . .	25
Глава вторая. Красное солнце . . . . .	48
Глава третья. Неизвестные сотрудники знаменитых ученых . . . . .	80
Глава четвертая. Казематская веточка . . . . .	108

---

Редактор *С. В. Узин*. Технический редактор *А. А. Базанова*  
Оформление художника *П. Ф. Некундэ*

---

Сдано в производство 15.I 1951 г. Подписано к печати 9.III 1951 г. Формат бумаги 84×108<sub>мм</sub>. Тираж 30.000. Бум. лист. 2<sup>1/2</sup>. Печатных листов 6,97. Издательских листов 7,5. Цена 2 р. 65 к. Зак. 55.

---

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

«...наши декабристы 1825 года  
страстно любили Россию».

*А. Герцен*







## ВВЕДЕНИЕ

«Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрасимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... и вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла...

*А. Герцен «Письма к будущему другу»*

«Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Так писал Пушкин князю Вяземскому 14 августа 1826 года. Друзьями, братьями, товарищами Пушкин называл декабристов. Пятеро из них 13 июля 1826 года были повешены в Петербурге на кронверке Петропавловской крепости; остальные приговорены к каторжным работам в рудниках, к ссылке на поселение, к разжалованию в солдаты.

После того, как с плеч осужденных были сорваны эполеты и над головами у них переломлены шпаги, — участники событий 14 и 29 декабря, променявшие княжеские титулы и высокие чины на титул «государственных преступников», были размещены по крепостям империи, впредь до отправки в Сибирь.

Эти люди, названные Пушкиным братьями, воспетые и оплаканные им, — по определению Ленина, «лучшие люди из дворян»<sup>1</sup>, были «самыми выдающимися деятелями»<sup>2</sup> первого этапа освободительного движения в России. Упомянув о декабристах в своих речах и статьях, Ленин указывал,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 295.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 223.

что они «страшно далеки»<sup>1</sup> от народа, но постоянно именовав участников декабрьских событий революционерами: они первые открыто выступили против царя и крепостного права, первые выдвинули лозунг замены самодержавия республикой.

Поражение, понесенное дворянскими революционерами 14 декабря 1825 года в Петербурге, на Сенатской площади, а затем под Васильковом, на Украине, где 29 декабря восстал и потерпел неудачу Черниговский полк, надолго отдало страну во власть феодально-монархической реакции. Солдаты, участники восстания, были обречены на мучительную казнь: их по двенадцати раз прогоняли сквозь строй; крестьянские волнения, возникшие как отголосок декабрьских событий, были подавлены с помощью военных команд, и крестьянам было строжайше запрещено даже жаловаться, подавать просьбы. Немота, молчание предписаны были высочайше. Чуть ли не в каждом студенте правительство видело крамольника, в каждом литераторе — подстрекателя к бунту.

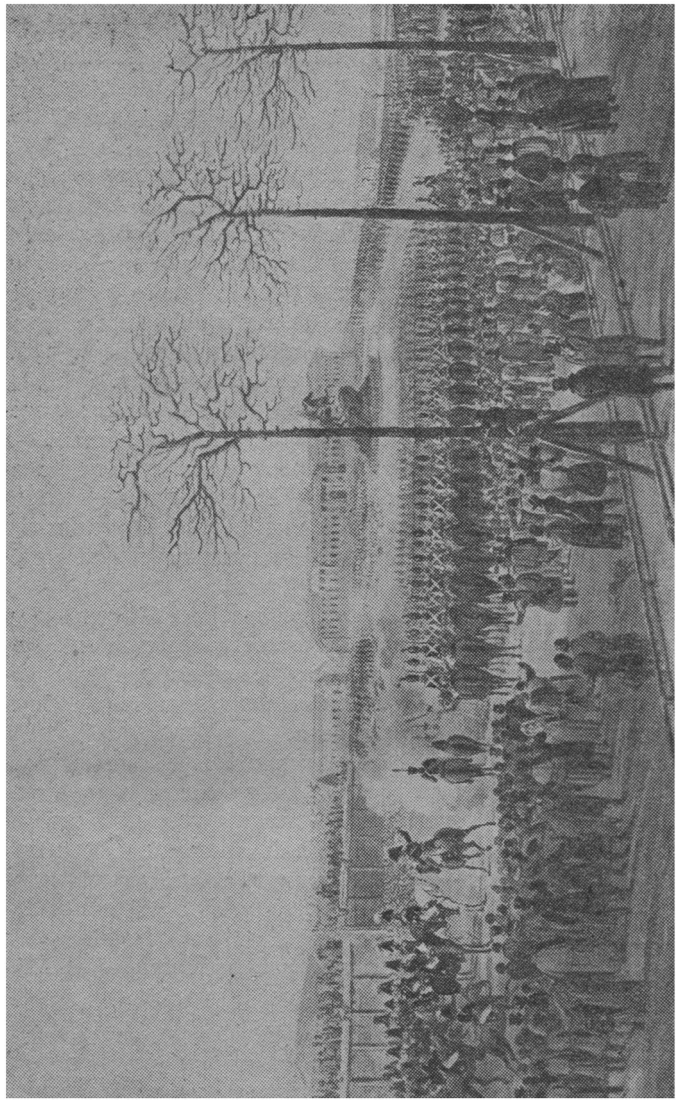
Образованное общество было охвачено смятением.

«С легкой руки Николая I, — вспоминает современник, — смертные казни вошли у нас как бы в обычай... и уже не производили того потрясающего действия, какое произведено было известием о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Пестеля и Каховского. Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата». «...Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни! — писал князь Вяземский жене после 13 июля. — Сколько жертв и какая железная рука пала на них!» «Первые годы, следовавшие за 1825, — писал Герцен. — были ужасающие. Только лет через 10 общество могло очнуться в атмосфере порабощения и преследований... Высшее же общество с подлым и низким рвением поспешило отречься от всех гуманных чувств, от всех цивилизованных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, не насчитывавшей близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна из них не осмелилась носить траур или высказывать сожаление».

Летом 1826 года началась отправка осужденных в Сибирь. Их везли закованными в кандалы, на фельдъегерских

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 14.



14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Акварель К. Кольмана (первая четверть XIX века).  
Государственный исторический музей. Москва

тройках, с жандармами. Случалось, ямщик, подгоняемый саблей жандарма, не в силах был удержать лошадей, лошади несли, возок опрокидывался — и скованные путешественники только чудом спасались от тяжелых увечий... «Ехавши в каторжную работу, кажется, незачем так торопиться!» — говаривал, вспоминая об одном из подобных приключений, не утративший юмора Пушкин.

...Казнь совершилась: «лучшие люди из дворян» были повешены в Петербурге или замурованы заживо в крепостях, или сосланы в глухие урочища Сибири. Память об их ужасной судьбе томила Пушкина, диктовала ему горькие строки. Судьба эта была тем более ужасна, что люди, с которыми в 1825 году расправился Николай, были, в точном значении слова, умственным цветом нации: их вдохновение и труд обещали русской культуре богатые плоды впереди.

В двадцатых годах XIX столетия, на собраниях литературных и научных обществ, в редакциях альманахов и журналов, в аудиториях Московского университета, деятельно, бодро и молодо звучали голоса будущих декабристов — поэтов, критиков, историков, физиков, техников, инженеров, преобразователей флота, мореплавателей, путешественников.

Многие из будущих декабристов успешно принимали участие в трудах Вольного экономического общества и Вольного общества любителей российской словесности, где постоянно происходили горячие дебаты по вопросам общественным, научным и литературным.

«Революционное гнездо... является одновременно и средоточием зреющего революционного выступления и крупным русским литературным центром, — пишет советская исследовательница проф. Нечкина об одной из групп Северного общества декабристов. — В нем живут и действуют пять известных писателей эпохи — Рылеев, А. Бестужев-Марлинский, Кюхельбекер, А. Одоевский, добавим Грибоедова; в нем находятся причастные к литературе Николай и Михаил Бестужевы... Завсегдатай этого дружеского круга, А. О. Корнилович, — один из значительных писателей-декабристов, историк, выдающийся по дарованиям и образованности человек. Если не забывать, что именно с этой группой... состоит в самой оживленной переписке А. С. Пушкин... то значение литературного центра особо оттеняется». К словам проф. Нечкиной, перечислившей литераторов-декабристов, следует прибавить, что Николай Бестужев был

не только писателем, но и ученым — изобретателем, физиком, историком русского флота; что, кроме Корниловича, автором ценных работ по русской истории был Никита Муравьев; что среди декабристов были участники дальних экспедиций: Торсон, Чижов, Романов, Михаил Кюхельбекер, братья Беляевы и знатоки Сибири, как Завалишин, Батеньков, Штейнгель, и видные практики-строители, как тот же Батеньков.

После разгрома восстания умственная температура образованного русского общества заметно понизилась; победители изъяли из культурной жизни столиц передовой отряд литераторов и ученых.

При единстве общественного идеала, защищаемого декабристами (борьба против крепостного права и самодержавия), в их среде все же наблюдались различные течения. Все они были дворяне, в большинстве своем офицеры, доблестные участники недавно отшумевшей войны. Но одни принадлежали к крупнопоместной знати, другие — к среднему дворянству; были среди деятелей тайного общества и дворяне обедневшие, безземельные. Проекты основных законов для будущей свободной России, созданные идеологами тайного общества, были различны: от цензовой конституционной монархии до республики или прочного федеративного союза всех славянских племен.

И вопросы о способах захвата власти решались не совсем одинаково: одни замыслили военный переворот, пытаясь вести пропаганду среди солдат, и ратовали за истребление всей царской фамилии, другим представлялось достаточным арестовать императора и принудить его подписать конституцию.

Однако при всем разнообразии идеологических течений внутри тайного общества в декабризме были черты, роднившие между собою всех его представителей: сторонников конституционной монархии и сторонников республики, блестящих флигель-адъютантов и бедных армейских прапорщиков... Эти черты: ненависть к крепостническому рабству, к аракеевщине, к бессмысленной муштровке солдат, преклонение перед мужеством народа, только что во время Отечественной войны и заграничных походов явившего чуда героизма; страстные мысли о будущих судьбах России, стремление на любом поприще — в мореплавании или в военном деле, в литературе или в юриспруденции,

в прокладывании дорог или в изучении архивов — служить интересам родины.

К началу XIX века старый феодально-крепостной строй уже пришел в ветхость. В недрах его уже развивался новый уклад — в то время прогрессивный — капиталистический, вступая в резкое противоречие с феодально-крепостными отношениями. Это была, по определению Ленина, эпоха «...буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности, эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений»<sup>1</sup>. В начале XIX века неизбежность крушения старого строя в России уже определилась вполне. Войны с Наполеоном сделали явственной мощь великого народа и то, в какой степени мощь его скована рабством. Вот что пробуждало сознание и энергию передовых людей. Походы за границу, знакомство с европейскими странами, где крепостного права давно уже не было и абсолютные монархии были заменены правлением представительным, поддерживали их революционную решимость. «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ... ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости... — писал Александр Бестужев. — Для того ли... мы купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?» «В беседах наших, — припоминает декабрист Якушкин, — обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, неуважение к человеку вообще».

Декабристы годами готовились к вооруженному восстанию. Захватив власть, они намерены были освободить крестьян, преобразовать армию, открыть широкую дорогу просвещению, торговле, промышленности, истребить неправосудие и взяточничество. Этой программе обновления страны вполне соответствовала их литературная и научная деятельность до 14 декабря и после — в Москве, в Петербурге, в Сибири.

Декабристы-поэты воспевали гражданское мужество, клеймили насилие тиранов; декабристы-критики отстаивали самобытную национальную литературу в противовес «нечистому духу» «пустого рабского, слепого подражания»; декаб-

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин Сочинения, т. 21, стр. 126.



ристы-историки открывали новые документы по русской истории и явились первыми критиками монархического принципа, лежащего в основе «Истории Государства Российского», написанной Карамзиным; декабристы-ученые пытались поставить науку на службу новым экономическим потребностям страны.

Крупнейшие из поэтов-декабристов — вождь Северного тайного общества Рылеев и деятельный член Союза благоденствия В. Раевский — в своих произведениях противопоставляли холопскому идеалу Аракчеева новый идеал: не «верноподданными» должны быть истинные сыны отчизны, но гражданами. Журналист и поэт Александр Бестужев в двадцатых годах нередко выступал с критическими статьями. В них явственно проводится настойчивая мысль о необходимости создания самобытной русской литературы, достойной великого народа, взамен салонной подражательной словесности. Он писал о «кладе русского языка», о том, что «новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его». В своем подробном разборе произведений Александра Бестужева Белинский отдал полную справедливость Бестужеву-критику, видя его заслугу в том, что в своих критических статьях Бестужев отстаивал «национальные элементы русского романа... родные стихии жизни русского народа».

Литераторы революционного лагеря мечтали о создании национальной комедии, которая вырвалась бы из плена классических французских образцов и правдиво рисовала бы русскую действительность. Увидев ее в «Горе от ума» Грибоедова, угадав в Чацком своего единомышленника, они бросились в полемику и сумели, даже в условиях цензурных стеснений, отстоять гениальное произведение от нападков политических и литературных стареверов.

«Будущее оценит достойно сию комедию, — пророчески писал Александр Бестужев, — и поставит ее в число первых комедий народных».

Декабрист В. Кюхельбекер, приехав в 1821 году в Париж, с громким успехом читал парижанам лекции «по истории российской словесности».

Декабрист Корнилович, имевший по службе доступ к секретным московским и петербургским архивам, обнаружил и опубликовал множество ценных материалов по истории России. Современники справедливо считали его крупнейшим знатоком истории XVII и XVIII веков.

Создавая «Арапа Петра Великого», Пушкин с доверием пользовался материалами, которые нашел и опубликовал Корнилович. Но Корнилович не только искусный собиратель документов, он автор самостоятельных исследований по русской истории. Ему принадлежит ценная работа по истории промышленности в России, напечатанная в 1823 году. В этой работе, быстро переведенной на многие иностранные языки, каждой отрасли промышленности посвящен исчерпывающий статистический очерк. Написал он и статью «Первый опыт кораблестроения в России», и несколько статей о торговых отношениях России с Голландией, и оставшийся незаконченным критический обзор многочисленных записок путешественников, поставив себе целью «объяснение древней отечественной географии».

В 1824 году Корнилович предпринял издание альманаха по русской истории, желая привить читателям вкус к родной старине. Альманах имел огромный успех. «Не будь декабрьской катастрофы, — пишет исследователь П. Щеголев, — из Корниловича вышел бы серьезный ученый, выдающийся историк»...

То же можно сказать о Никите Муравьеве. Это был блестящий офицер гвардейского генерального штаба, участник заграничных походов, глубоко изучивший военную историю, в особенности стратегические приемы Суворова. Первая его работа заключала в себе разбор вышедших в свет в начале XIX века русских и иностранных биографий Суворова. Муравьев горестно констатирует, что «Муза истории дремлет у нас в России», что писатели, мнящие себя историками, заняты отнюдь не изучением событий и не обобщением их, а кудрявыми панегириками. Особенно сетует Муравьев на отсутствие военной истории России. «Россия имела Румянцевых, Суворовых, Каменских, Кутузовых, — пишет он, — но дела их никем надлежащим образом не описаны; они как бы достояние другого народа! Юный воин, лишенный отечественных сих пособий, должен пользоваться примерами других народов, как будто мы скудны были своими!»

Но вот в 1818 году вышла в свет многотомная «История Государства Российского» Карамзина, восторженно встреченная современниками. Это был капитальный труд, имевший для своего времени большое значение. Карамзин впервые ввел в научный оборот новые неизвестные документы, отрывки из летописей и целые летописные своды. Написана

его история увлекательно, языком художественного произведения. Казалось бы, после выхода в свет этих долгожданных томов больше уже нельзя было сетовать на то, что «Муза истории дремлет у нас в России». Однако будущие декабристы и среди них Никита Муравьев не могли согласиться с основными принципами, лежащими в основе карамзинской «Истории»: Карамзин неустанно восхвалял спасительную мудрость самодержавия и призывал к примирению с «несовершенствами» действительности. Никита Муравьев прочел «Историю» Карамзина не как читатель, а как ученый: критически, с карандашом в руках. Он сопоставил текст Карамзина с первоисточниками, совершая по пути самостоятельные исторические исследования. Он подверг беспощадному разбору общую историческую концепцию Карамзина. Не менее горячо, чем автор «Истории Государства Российского», верит он в величие и силы России, но утверждает, что не в деспотизме могущество. Суждения Муравьева о целях и задачах истории показывают, как далеко молодой ученый опередил свое время. «История народов принадлежит царю», — пишет Карамзин. «История принадлежит народам», — возражает ему Муравьев. История, по Карамзину, должна мирить читателя «с несовершенствами видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках». «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного, — возражает ему Муравьев, — но история должна ли только мирить нас с несовершенствами... В том ли состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенять обязано. Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом; добродетельные граждане должны быть в вечном союзе противу заблуждений и пороков». Далее он возражает на утверждение Карамзина, будто главное в истории «красота повествования». «Мне кажется, что главное в истории есть дельность оной. Смотреть на историю единственно, как на литературное произведение, есть уничтожать оную... Любовь к отечеству дает кисти историка жар, силу, прелесть. Согласен, но... можно ли любить притеснителей и заклепы. Тацита одушевляло негодование».

В апрельской книжке «Сына Отечества» за 1823 год помещена статья о «Новой Земле», подписанная скромным именем Н. Чижова. Это — поэт, топограф, литератор, моряк, лейтенант флота, несший морскую службу в Архангельске, будущий декабрист, совершивший в 1821 году плаванье

на Новую Землю с экспедицией Ф. П. Литке. Подробный отчет об экспедиции был опубликован лишь в 1828 году; таким образом, статья Чижова — первое, или одно из первых, известий о трудах русской арктической экспедиции, которая в тяжелейших ледовых условиях произвела описание западного побережья Новой Земли, точно определила положение Маточкиного Шара, установила координаты Канина Носа, открыла новые острова и исправила множество ошибок на географических картах. Лейтенант Чижев живописным и точным слогом, обличающим в нем даровитого литератора, повествует о естественных богатствах Новой Земли, о каменном угле и серебре, об оленях, о белых и голубых песках, о китобойном и моржевом промыслах.

«Новая Земля» известна была русским с давнего времени, — пишет Чижев, — и еще древние новгородцы ходили на нее за промыслами. Распространяясь по всей Югорской земле и перейдя Уральские горы, они не оставили посетить и сии пустынные страны... Говорят, что они нашли обильную серебрянную жилу... и добывали из нее чистое серебро; но после, с упадком новгородской промышленности, разработка сих рудников прекратилась». Пишет он и о больших возможностях для китобойного промысла. «Непонятно, — укоризненно восклицает он, — почему русское купечество не обращает на сие никакого внимания и пренебрегает эту ветвь торговли».

Статья моряка Чижова, ставящая себе целью привлечь внимание общества к подвигам русских мореплавателей и к богатствам Арктики, заканчивается в книжке журнала на той самой странице, где начинается статья Александра Бестужева, ставящая себе целью привлечь внимание общества к богатствам русской литературы. Говоря об альманахе «Полярная Звезда», Бестужев пишет, что издатели (он и Рылеев) желали «ознакомить публику с Русскою стариною, с родною словесностью, с родными писателями». Так, неприметным, но внутренне единым фронтом выступали на страницах тогдашних журналов передовые деятели молодой России: разведчики ее богатств в ледяных просторах, пропагандисты самобытности и достоинства ее литературы.

Заслуженный боевой моряк Торсон, не раз, по выражению тогдашних рескриптов, «оказывавший неустранимость в морских боях», был деятельным участником прославленной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, снаряженной в 1819 году в Южный океан. Подвиги, совершенные экипа-

жами шлюпов «Восток» и «Мирный», никогда не утратят огромного научного значения. Отправившись в неизвестные воды, навстречу туманам и льдам, на парусных хрупких судах, русские моряки проникли в Южный полярный океан, открыли новые, неведомые острова и целые архипелаги, основательно изучили свойства и строение плавающих и неподвижных льдов, собрали обильный этнографический материал и, главное, опровергли ложное утверждение Кука, будто Антарктида либо не существует совсем, либо материк этот недостижим для мореплавателей. Русская экспедиция доказала существование Антарктиды и достигла ее.

Торсон проделал всю экспедицию на шлюпе «Восток». В блистательной научной победе, одержанной экспедицией, есть доля заслуг и Константина Петровича Торсона. Заслуги, повидимому, были серьезные: в описании своего путешествия Беллинсгаузен упоминает о Торсоне чаще, чем о других офицерах, и один из островов, открытых экспедицией, назван был «островом Торсона». И можно легко вообразить себе, как горячо должен был возмущаться образованный, стойкий, умелый моряк, понимавший все значение только что совершенных открытий, когда морское министерство отказало Беллинсгаузену в средствах на опубликование отчета о плавании...

Отчет к 1824 году был уже готов, но напечатать его, заявить ученому миру о перевороте в географической науке, совершенном экспедицией, невозможно было — чиновники не отпускали денег. Напечатана книга Беллинсгаузена была только в 1831 году.

Главные интересы Торсона лежали в технике. Человек упорной и настойчивой энергии, он был одержим идеей усовершенствования русского флота. Он видел, что, несмотря на самоотвержение матросов и офицеров, русский флот, под управлением маркиза де-Траверсе, подвергается систематическому разрушению; леса, пригодные для кораблестроения, переводятся зря; корабли, стоящие на Кронштадтском рейде, вместо своевременного ремонта, просто напросто подкрашиваются, да и то лишь с той стороны, с какой на раззолоченной яхте проезжает император во время высочайших смотров... Он добился разрешения переоборудовать по последнему слову морской техники корабль «Эмгетейн» с тем, чтобы заново оснащенное и вооруженное судно стало образцом для перевооружения всего флота. Настойчивость Торсона, его выдающиеся познания и, главное,

его неподкупность раздражали чиновников морского ведомства. Торсон сам не крал и другим не давал; мало того, при оснащении «Эмгетейна» он сэкономил для казны около миллиона рублей. «Любо было смотреть на этого красавца русского флота, — пишет об «Эмгетейне» современник, — наряженного без казенного классицизма, просто, чисто, и вполне отвечающего боевому его назначению». Помешать Торсону переоборудовать корабль чиновникам не удалось, зато удалось свести результат его труда к нулю. Когда «Эмгетейн» готов был отправиться в пробное плавание, Торсона отстранили от командования, а созданный им образцовый военный корабль был отдан великому князю Николаю для увеселительной семейной прогулки. «Тормоз на каждом колесе России», — недаром Герцен дал это наименование царскому самодержавию.

Утешение после неудачи с «Эмгетейном» Торсон нашел в хлопотах об экспедиции на северный полюс. Сподвижник Беллинсгаузена и Лазарева, участник экспедиции в Южный океан, он давно мечтал об экспедиции на север. Казалось, эта мечта должна была вот-вот осуществиться. Царь уже утвердил инструкцию, на верфях уже строился фрегат и бриг... «Помню я эти блаженные минуты, — пишет в своих мемуарах друг и помощник Торсона, моряк и будущий декабрист Михаил Бестужев, — когда в осенние ночи, при тусклом свете сальной свечи, мы проводили с Торсоном пути по земному шару, открывали с ним неведомые страны и острова и крестили их русскими именами».

Но прокладывать пути в Арктике отважным морякам не пришлось. «Тормоз» и тут оказал свое действие. Им предстояла другая дорога — в кандалах на каторгу. Опальное имя Торсона исчезло с географической карты: когда правительство дозналось, что Торсон принадлежал к заговору, — остров был переименован в «Высокий».

...Одной из самых ярких фигур среди декабристов был моряк Николай Бестужев. Он принадлежал к «левому флангу» Северного общества — флангу, во главе которого стоял Рылеев, флангу, который подготовил и вынес на своих плечах декабрьское восстание в Петербурге. Изумительна творческая разносторонность Николая Бестужева: писатель, актер, художник, техник-изобретатель, мыслитель-экономист, историк, физик. В 1809 году Николай Бестужев окончил Морской корпус и сразу был назначен туда воспитателем. Ему поручили преподавать морскую эволюцию,



Николай Александрович Бестужев. Автопортрет. Акварель.

*Собрание И. С. Зильбрштэйна. Москва.*



практику и высшую теорию морского искусства. С первых же шагов он проявил те черты характера, которые сказались впоследствии во всей его дальнейшей научной и общественной деятельности: творческое восприятие науки, стремление сказать в ней новое слово и в то же время непрерывно пропагандировать ее и применять практически к каждому порученному делу. В программе корпуса не было физики — Николай Бестужев не мог примириться с таким упущением и начал обучать физике кадетов бесплатно сверх программы и сам на собственные средства и своими руками оборудовал в корпусе физический кабинет. В 1813 году его перевели на строевую службу в Кронштадт — тут он изобрел кожаную лодку на полозьях для передвижения по льду и через полыньи. Когда же Николай Бестужев получил должность помощника директора всех маяков в Финском заливе, он принялся усовершенствовать маячные лампы, рефлекторы, машины для вертящихся огней.

В 1818 году в двух книжках «Сына Отечества» была напечатана статья Николая Бестужева «Об электричестве в отношении к некоторым воздушным явлениям». Молодой ученый создал стройную теорию участия электрических сил и зарядов в явлениях туманов, туч, дождя. Несостоятельная перед лицом науки нашего века, попытка Бестужева была для своего времени интересной и новой. Через 21 год, в письме к брату, в связи с известием о постройке железной дороги между Царским селом и Павловском, «государственный преступник», отбывающий каторгу Николай Бестужев, так вспоминал в письме из Сибири о юношеской своей попытке: «Говоря о ходе просвещения, нельзя также не упомянуть тебе с некоторою гордостью, что... мы, русские, во многих случаях опереживали других европейцев: чугунные дороги не новы, они существуют на многих железных заводах для перевозки руды, бог знает с которой поры. Толкуют о новости артезианских колодцев: они у нас существуют с незапамятных времен; Англия, Франция и Америка захлопотали недавно о подводных судах; у нас при Петре уже деланы были опыты. В Америке только Франклин открыл аналогию грома с электричеством — у нас Рихман убит при опытах с электрическим змеем, который он спускал с Ломоносовым. Мы теперь читаем по временам различные теории ученых, выведенные из метеорологических опытов о северном сиянии, о граде, грозе, дожде и проч., а я, бедный человек, еще в 1818 году в «Сыне Отечества»... поместил

статью о электричестве в отношении к воздушным явлениям, где моя теория, изложенная перечневым образом и с робостью первого опыта, удивительно как отвечает нынешним требованиям».

Сколько гордости в этих словах — гордости за русскую науку и сколько в них горечи: горька была судьба ее деятелей...

Как и все декабристы-литераторы и декабристы-ученые, как Рылеев, Раевский, Корнилович, Никита Муравьев, Батеньков, Штейнфельд, — Николай Бестужев интересовался историей России. Но он был прежде всего моряком (к 1825 году он совершил уже три дальних заграничных плавания), и потому история родного флота всегда была для него на первом плане. 28 июля 1822 года в ученом собрании Государственного адмиралтейского департамента Николай Бестужев огласил начало своего «Опыта истории российского флота». Это было обширное научное исследование, основанное на сведениях, извлеченных из древних русских летописей, из голландских, французских, немецких и английских источников. История русского флота доведена была исследователем до 1714 года. Автор дает подробные описания различных типов тех судов, на которых плавали русские в древнейшие времена. Попутно он характеризует водные пути страны, излагает историю развития торговых отношений Руси с зарубежными странами.

В январе 1825 года, после завершения успешного плавания от Кронштадта до Гибралтара на фрегате «Проворный», где Николай Бестужев исполнял должность историографа, он назначен был состоять при Адмиралтейском департаменте, с присовокуплением должности смотрителя «Модель-каморы». Началась новая работа молодого ученого — работа по упорядочению Морского музея и архива морских дел при Адмиралтействе, требовавшая обширных познаний и крупных организаторских способностей.

«Тут открылось обширное поприще для его умственной и технической деятельности, и надо сказать, что требовалось много энергии и силы воли, чтобы начать с пользой действовать в том хаосе, какой царил в архивах и модельных залах, — вспоминает Михаил Бестужев. — В грудах, покрытых пылью и плесенью, лежали драгоценные манускрипты; в тетрадах, сшитых на живую нитку автографов Петра Великого и прочих его деятелей, недоставало многих листов, они были вырезаны, а чаще просто выдраны; в залах

моделей, между дорогими и замечательными по отделке моделями, находились какие-то кораблики-игрушки и предметы, совершенно чуждые флоту. Все это составлено, свалено, скомкано без всякого толка... Он увидел себя в безвыходном положении... Ему оставался единственный выход — привести в порядок хаос архива, и он принялся за этот подвиг Геркулеса... со всей энергией безотрадного положения. Он буквально проводил целые дни в пыльной атмосфере архива и выходил подышать свежим воздухом или в модельную залу, где водворялся порядок систематическою расстановкою в хронологическом порядке моделей, или в мастерскую, где пополнялись пробелы моделей мастерскими, требовавшими его указаний».

Неблагодарный труд историографа русского флота был вознагражден ценной находкой: в руки его попали бумаги одного из современников Петра I, адмирала Нагаева, сохранившего многие подлинные судебные дела петровской эпохи, переписку Петра I с высшими сановниками государства и пр. Николай Бестужев полагал, что сделанная им находка даст ему возможность пополнить сведения, добытые о Петре I другими историками, и, в частности, многое добавить к тем материалам, которые были собраны Голиковым.

Но от истории необходимо было возвратиться к действительности. Научные изыскания молодых русских ученых прерваны были подготовкой к восстанию. Междуцарствие, неожиданно наступившее после смерти Александра I, побудило тайное общество совершить попытку переворота. Молодые люди снова сменили перья на шпаги. Та же вера в величие судеб России, которая диктовала им поэмы, дальние путешествия, подвиги на полях сражения, труды по истории, та же ненависть к тормозу развития страны — самодержавию — снова вела их в бой. «Случай удобен. Если мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов», — писал Пущин Фонвизину, когда началось междуцарствие. Декабристы в благодарной памяти потомков заслужили имя героев, сознательно вышедших на верную гибель, почти не надеясь победить. «Страшно далеки они от народа», писал Ленин: этой далью они и были обречены на поражение.

Молодой император стянул к Сенатской площади, где выстроилось каре восставших, верные правительству войска. Противники стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. Обе стороны выжидали, обме-

ниваясь редкими выстрелами. Вялая атака конногвардейцев была отбита московцами. Смеркалось, дул холодный ветер. Люди стойко стыли на ветру. Вдруг правительственные полки расступились: батарея артиллерии стала между ними. Разверстые зевы пушек сверкнули в сером мерцании сумерек. После первой команды залпа не последовало: «Как стрелять-то, ведь там свои», — говорили артиллеристы. Но вот вторая команда — и завизжала картечь. Восставшие дрогнули; одни кинулись под арку, на Галерную, другие на лед Невы. Лед ломался под ногами бегущих, темнея, теплея от крови. Галерная через минуту была завалена трупами: тут были солдаты, матросы и просто зрители. Пальба длилась около часу. Осколки стекол сыпались из окон Сената, снег мелкими вихрями крутился над площадью. В промежутках между выстрелами можно было слышать, как кровь струилась по мостовой, растопляя снег. Среди мертвых ползали раненые. Они пробирались к воротам, но визг картечи и смерть настигали их всюду.

Тщетно Николай и Александр Бестужевы на Галерной пытались собрать и построить бегущих, чтобы упорядочить отступление; тщетно Михаил пытался построить колонну на льду Невы: все было кончено. Император победил. Первым приказом молодого царя было арестовать заговорщиков и убрать трупы, отмыть со стен кровь, посыпать лед песком. Во дворец, окруженный кольцом из пушек и пылающих костров, а оттуда в Петропавловскую крепость, всю ночь приводили участников восстания — обезоруженных, со связанными веревкой руками. Во льду на Неве были проделаны проруби: туда спускали мертвых, а иногда и живых. Все было кончено. Николай Бестужев, переодетый простым матросом, попытался скрыться, но был схвачен неподалеку от Кронштадта. Александр и Михаил Бестужевы сами явились во дворец. Рылеев, Никита Муравьев, Корнилович, Торсон, Пущин и многие-многие десятки других стали узниками — сразу или через несколько дней. Все было кончено. Начиналась трагедия следствия и комедия суда.

Само собой разумеется, что в казематах Петропавловской крепости литераторам было не до занятий литературой, а ученым — наукой. Узник Алексеевского рavelина Николай Бестужев бился уже не над усовершенствованием корабельных приборов и не над теорией земного магнетизма: выломанным из вентилятора жестяным крылышком, отточенным

о печь, он буравил кирпичную кладку стены — за стеной сидел брат Михаил. Измученные сознанием поражения, запуганные угрозами пыток и смертной казни, сбитые с толку милостивыми обещаниями царя, голодные, закованные в кандалы, они обдумывали уже не проблемы механики, истории, физики, а ответы на бесконечные вопросные пункты, присылаемые им из следственной комиссии. От каждого ответа зависела собственная участь, участь товарищей, участь семейств... Одни спешили покаяться, другие держались достойно, поражая следователей бестрепетной прямоотой ответов. Но интересно отметить, что многочисленные записки, поданные декабристами царю из казематов Петропавловской крепости, — записки, в которых они объясняли причины и цели восстания, — богаты, кроме обличений неправды, взяточничества, насилий, тиранства, обширными материалами из области быта, экономики, истории родной страны. «Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян», — пишет императору Александр Бестужев. И тут же обильные сведения о причинах неурожая в России, о причинах упадка торговли и банкротства купцов. Записка Штейнгеля богата сведениями о хлебной торговле, о штрафах, о финансах, об откупках, о налогах, о состоянии флота. Записка Якубовича трактует вопросы финансовой политики и обложения налогами... В апреле 1826 года Торсон из могилы каземата просит разрешения послать царю записку об усовершенствованиях, необходимых русским кораблям. В мае коменданту сообщено, что царь милостиво позволяет Торсону писать «о разных собранных им полезных сведениях касательно флота». Весь опыт замечательного мореплавателя, ученого исследователя новых земель, изобретателя и кораблестроителя, всю ненависть к бюрократам и казнокрадам, уничтожающим «прекраснейшее творение великого Петра», вложил он в свою записку. Это было как бы завещание, написанное ученым моряком накануне его гражданской смерти.

После томительного заключения, а затем путешествия на фельдъегерской тройке с жандармом — путешествия, скрашенного встречами с поджидающими на станциях родными, сочувствием безвестных крестьянок, торопливо крестящих «несчастных» или бросающих им в сани пятаки и баранки, — глазам осужденных открылся неведомый край.

«Когда мы утром тихо тянулись по подъему, верст 20 до станции, стоящей одиноко, уныло на самом гребне

хребта, — вспоминает декабрист Лорер, — и когда с вершины открылось необозримое море лесов — синих, лиловых, с дорогой, лентой извивающейся по ним, то ямщик кнутом указал вперед и сказал:

— Вот и Сибирь!»

Лишь немногие из осужденных были сосланы прямо на поселение — в города и села Сибири; для большинства же из них Сибирь обернулась Благодатском, Читой, потом Петровским заводом. И как только физические силы узников, изнуренных дорогой, стали постепенно восстанавливаться и страшные воспоминания о суде и следствии отступать на задний план, привычная потребность умственной деятельности брала свое, глаза просились к книге, руки — от лопаты, тачки, мельницы, молота — к перу и бумаге. Узники Читы и Петровского обучали друг друга иностранным языкам, Никита Муравьев читал лекции по стратегии и тактике, Николай Бестужев — по истории русского флота, лекарь Вольф — по физике, химии и анатомии, Бобрищев-Пушкин — по прикладной математике, Корнилович — по истории России, Одоевский — по истории русской словесности. Муханов сочинял и вслух читал товарищам повести, Николай Бестужев — воспоминания о Рылееве, Михаил Кюхельбекер рассказывал о кругосветном плавании на шлюпе «Аполлон», Торсон докладывал о путешествии в Антарктику, — о том самом путешествии, отчет о котором на воле все еще не удавалось напечатать... Возбужденная умственная деятельность помогала узникам Читы и Петровского коротать часы, дни, недели, бесконечные годы каторги, помогала бороться с тяжелыми приступами хандры, а то и безумия. Но постепенно — для одних через 8, 10, для других через 12 и через 15 лет — двери тюрьмы отпирались и каторжники «обрашаемы были на поселение». Тут, на берегах Ангары и Лены, Енисея и Селенги происходила встреча лицом к лицу, без палисадов, замков, решеток и охраны с могучими реками Сибири, с ее тайгой, степью, с ее людьми. Вся многолетняя научная подготовка, совершавшаяся на воле и в тюрьме, оказывалась теперь мобилизованной для изучения новой, открывающейся перед глазами страны. И чем в большей степени, чем глубже удавалось поселенцам вдуматься в нужды того края, куда занесла их судьба, полюбить его и сродниться с ним, тем ощутимее и плодотворнее оказывались результаты их научной и общественной деятельности.

Николай I отличался врожденным солдафонским, скалозубовским неуважением к таланту. Мало сказать неуважением: это была какая-то органическая, глубокая ненависть, вызываемая, быть может, смутной догадкой о том, что талант — это тоже власть, что талант нелегко укротить, даже располагая целым корпусом жандармов, что талант съестит, хоть загони его под землю, что в выдающихся деятелях русской культуры таится сила, неподчиненная ему, непокорная, существующая вопреки его воле.

Рассадив декабристов по казематам крепостей, разослав их по рудникам, каторжным тюрьмам, кавказским полкам, он нанес жестокий ущерб развитию русской культуры. С возмущением писал о его постыдной роли Лев Толстой: «Когда какой-нибудь смельчак решался докладывать, прося смягчения участи сосланных декабристов или поляков, страдающих из-за той любви к отечеству, которая им же восхвалялась, — он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «...Рано!», как будто он знал, когда будет не рано и когда будет время»<sup>1</sup>. Однако гнусный замысел Николая можно считать удавшимся только наполовину: дарования декабристов не погибли в Сибири. Декабристы явились исследователями быта, нравов, языка, преданий, религии, песен населяющих Сибирь народов; они изучали ее климат, ее природу, ее растительный и животный мир; они вводили усовершенствования на ее заводах и на ее полях; они стали учителями, лекарями, просветителями ее населения. Сначала им было запрещено иметь чернила, бумагу и перья; потом разрешено писать, но запрещено печататься; многое, написанное ими в Сибири, истреблено ими в ожидании обыска, затеряно почтовыми чиновниками, уничтожено рукою жандарма — и все же научная работа декабристов не погибла: одинокие ручейки мало-помалу одолевали препятствия и неслышно вливались в могучую реку великой русской культуры.

---

<sup>1</sup> «Полное собрание художественных произведений». М.—Л., 1930, повесть «За что», т. 15, стр. 71.







*Глава первая*  
«НА БЕРЕГУ ШИРОКОЙ ЛЕНЫ»

«Есть для меня потомство,  
если нет современников».

*А. Бестужев*

**В** художественных произведениях декабристов суровая прелесть Сибири впервые блеснула под пером Рылеева.

В начале 1823 года Рылеев задумал поэму об участнике заговора Мазепы, Войнаровском, сосланном со всей семьей на Лену, в Сибирь. Читатель встретился в поэме Рылеева с отважными охотниками-якутами, с караванами русских купцов; заглянул в светлые воды Байкала, услышал шум тайги, увидел белую равнину и разнообразные склоны гор.

В изображении Рылеева герой поэмы — мужественный борец за свободу родины. С подлинным Войнаровским — авантюристом, представителем алчной казацкой старшины, образ, созданный Рылеевым, не имеет ничего общего. Да и не во имя документальной точности была написана эта поэма вождем тайного общества. Не о прошлом думал Рылеев, работая над своей поэмой, а о настоящем и будущем России; не о судьбе Войнаровского, а о своих современниках, борцах за освобождение Родины, об их трагической и славной участи.

Поэме предшествовало посвящение — стихи, обращенные к единомышленнику и близкому другу Рылеева Александру Александровичу Бестужеву.

Вместе издавали они альманах «Полярная звезда», вместе писали революционные песни, ходившие по рукам среди солдат:

Ты скажи, говори,  
Как в России цари  
Правят.  
Ты скажи поскорей,  
Как в России царей  
Давят, —

вместе готовились погибнуть в борьбе за свободу родной страны.

Прими плоды трудов моих, —

писал, обращаясь к Александру Бестужеву, Рылеев, —

Плоды беспечного досуга,  
Я знаю, друг, ты примешь их  
Со всей заботливостью друга.  
Как Аполлонов строгий сын,  
Ты не увидишь в них искусства;  
Зато найдешь живые чувства, —  
Я не Поэт, а Гражданин.

Все произведения Рылеева, говорящие о прошлом, всегда были глубоко современны, всегда являлись внятным призывом к политической борьбе. Призывом к борьбе была и поэма о Войнаровском. Рылеев написал ее для того, чтобы еще раз воскликнуть:

Но я решился: пусть судьба  
Грозит стране родной злосчастьем;  
Уж близок час, близка борьба, —  
Борьба свободы с самовластьем.

Потерпев поражение в этой борьбе, герой поэмы Рылеева оказывается сосланным в «страну метелей и снегов», в Сибирь. Там, на берегу широкой Лены, в дебрях тайги он случайно встречается с Миллером, русским ученым, изучавшим историю, нравы и природу Сибири.

В стране той холодной и дубравной  
В то время жил наш Миллер славный.  
В укромном домике, в глуши  
Работал для веков в тиши.

. . . . .  
В часы суровой непогоды  
Любил рассказы стариков  
Про Ермака и казаков,  
Про их отважные походы  
По царству хлада и снегов.

Герой поэмы встречается с Миллером на охоте, приглашает ученого к себе в юрту и рассказывает ему свою печальную, но гордую повесть.

Перенеся место действия поэмы в Сибирь, Рылеев сделал попытку реалистически изобразить Якутск, суровую сибирскую зиму и короткую весну. Он позаботился о том, чтобы в его романтической поэме проступили подлинные краски сибирской природы и сибирского быта. В ту пору, в связи с открытиями русских путешественников на Тихом океане, в Арктике и в Америке, с ростом сибирской торговли и горнозаводского дела, с развитием на новооткрытых землях пушных промыслов, интерес к далеким северо-восточным морям и землям в передовом русском обществе увеличивался с каждым годом. С жадностью читались описания путешествия Крузенштерна и Лисянского, посетивших в начале нового века Камчатку, Курильские острова, Сахалин и остров Кадьяк; путешествия Хвостова и Давыдова в северной части Тихого океана; описания плаваний Головнина и плаваний Коцебу. С уважением вспоминались имена простых русских людей, казаков, звероловов, промышленников, бесстрашных морепроходцев и землепроходцев XVII и XVIII веков, которые пядь за пядью осваивали хребты и таежные дебри Сибири, не боясь ни буранов, ни пустынных пространств, ни грозных льдов на вечнобурных морях. Подвиги Ивана Москвитина, Владимира Атласова, Семена Дежнева, Василия Пояркова — могли ли они не увлечь живое воображение поэта?

Работая над поэмой, Рылеев изучал сочинения путешественников по Северной Сибири, отрывки из которых нередко появлялись в журналах в начале двадцатых годов. Пользовался он, повидимому, и знаменитым «Описанием сибирского царства» Миллера (того самого Миллера, с которым встречается в Сибири и беседует главный герой его поэмы), а быть может, и работами великого предшественника декабристов Радищева, опубликованными в 1811 году. К его услугам были и многотомные труды знаменитых академических экспедиций, организованных Российской академией наук во второй половине XVIII века: экспедиции по Сибири Палласа, Соколова и Зуева, путешествия Георги, изучавшего Забайкалье...

Но были у рылеевской поэмы не только книжные — живые источники. Как раз в 1820 году Рылеев тесно сошелся с двумя будущими декабристами — Владимиром Ивановичем

Штейнгелем и Гаврилой Степановичем Батеньковым, уроженцами Сибири и крупными сибирскими деятелями, да и помимо них многие из будущих декабристов живо интересовались Сибирью. Таков был молодой моряк Завалишин, вместе с Лазаревым и Нахимовым совершивший кругосветное путешествие на фрегате «Крейсер», побывавший в Калифорнии и возвратившийся в Петербург через Сибирь, горя о том, что недостаток судов и сильный разлив реки помешали ему «разведать Амур». Таков был Корнилович, напечатавший в «Северном архиве» за 1825 год статью «Известие об экспедициях в Северо-Восточную Сибирь флота лейтенанта Барона Врангеля и Анжу в 21, 22 и 23 гг.» — историю замечательной русской экспедиции на северо-восточные берега Сибири.

«...мы можем похвалиться подвигами наших мореходцев, — писал Корнилович в этой статье — ... Беллинсгаузен, находясь в южном Ледовитом море, был далее Кука и совершил свое путешествие кругом света скорее, нежели сей английский мореплаватель; наконец, гг. Врангель и Анжу во время исследований северо-восточного берега Сибири, исполнив сие поручение с успехом, испытали в сей экспедиции трудности, с которыми едва могут сравняться столь много прославленные подвиги капитанов Парри и Франклина. Все иностранные журналы наполнены сведениями об их путешествии; все ждут от нас подробностей об оном...»

Сам же Рылеев был близок к одному из руководителей Российско-Американской компании, члену Государственного Совета адмиралу Мордвинову, и в 1824 году поступил в Компанию на службу. Это была полуправительственная, полукупеческая коммерческая организация, учрежденная, как гласил ее устав, для «промыслов на островах и на матерой земле Северо-Западной Америки», то есть на тех землях Американского материка, которые тогда принадлежали России. Естественно, что во всех своих торгово-промышленных предприятиях Компания теснейшими узами связана была с Сибирью.

Многое влекло членов тайного революционного общества к сближению с руководителями организации, чья деятельность на островах Тихого океана и в русских владениях Америки с небывалым прежде размахом открывала новые заманчивые пути для русской торговли. Но более всего Рылеева и его друзей влекло к Компании желание сблизиться с купечеством, завязать тайные связи не только

среди дворянства, но и среди представителей нового крепнувшего сословия.

Рылеев, братья Бестужевы, Завалишин, Корнилович, Штейнгель, Батеньков, братья Кюхельбекеры охотно бывали на обедах у Ивана Васильевича Прокофьева — директора Компании, а когда там же поселился Рылеев — дом на Мойке, близ Синего моста, сделался для будущих декабристов родным. Члены тайного общества — настоящие и будущие — постоянно собирались на скромных «русских завтраках» у Рылеева и на пышных обедах у Прокофьева; Александр Бестужев и Штейнгель подолгу жили в этом доме. Поэт Кюхельбекер с любопытством расспрашивал посетителей Рылеева, побывавших в Тихом океане, о том, «как стреляют бобров и котов морских в селении нашем в Америке, называемом «Росс», а моряк Романов, совершивший на одном из кораблей Компании кругосветное плавание, горячо объяснял собравшимся необходимость «для географических познаний и торговых выгод отечества нашего» сухим путем достигнуть из русской Америки Ледовитого океана и Гудсонова залива.

Непосредственно же о самой Сибири Рылеев в пору своей работы над поэмой более всего мог получить сведений от Штейнгеля и Батенькова — урожденных сибиряков, много лет прослуживших в Сибири. Отец Штейнгеля, капитан-исправник Нижне-Камчатского округа, преследуемый кознями лютого и пьяного начальства, кочевал по Сибири и Камчатке, таская за собой жену и детей: 1014 верст по старой Охотской дороге проделал мальчик в берестяном коробе, привязанном к седлу. Окончив морской корпус, Владимир Иванович водил транспорты по бурному Охотскому морю, потом стал начальником Иркутского адмиралтейства. Штейнгель многое мог порассказать поэту о якутских юртах, обмазанных глиной, о том, как ледяная каша на Лене не дает ходу байдарке, о том, как оживляется заброшенный Якутск во время весенней ярмарки, о меткости тунгусов-охотников, о бесстрашии сибирских ямщиков, о хищничестве сибирских чиновников...

Еще более мог быть полезен Рылееву своими богатыми познаниями о Сибири Гаврила Степанович Батеньков. Он, как и Штейнгель, был коренной сибиряк. Родился Батеньков в Тобольске, татарскую грамоту, по собственному признанию, усвоил ранее русской и мальчиком любил слушать рассказы дяди Осипа, промышлявшего котика на Алеут-

ских островах. После войны, оправившись от ран, Гаврила Степанович получил назначение на службу в родную Сибирь в качестве управляющего X округом путей сообщения. Он построил в Томске новую мостовую, новый мост, укрепил набережную реки Ушайки. Три весны подряд наблюдал он в Томске вскрытие рек; результаты своих наблюдений он записал, сопроводив замечаниями по «общей теории стечения двух рек». Эти три записи Батенькова — первые в России гидрометрические наблюдения над речными разливами. Но настоящий размах придала деятельности молодого инженера служба при Сперанском, явившемся в 1819 году в Сибирь ревизовать и благоустраивать край. Когда Сперанский прибыл в Тобольск, Батеньков подал ему проект о преобразовании путей сообщения в Сибири, составленный так, чтобы облегчить дорожную повинность, отягощавшую туземное население. Сперанскому понравился проект, заинтересовал его и автор проекта. Прежде чем преобразовывать страну, необходимо было досконально изучить ее, собрать возможно больше географических, статистических, этнографических, экономических сведений. Добывать этот материал Сперанский и поручил Батенькову. Он приблизил молодого инженера к себе, ввел его в свой личный штат и дал целый ряд поручений. Батеньков ездил в Кяхту для обозрения тамошней границы и кяхтинской торговли; ездил в Иркутск, чтобы выяснить, возможно ли заменить деревянную набережную Ангары земляным откосом, обследовал состояние кругобайкальского тракта и предложил учредить новый, более удобный и короткий. Им был составлен проект геодезической съемки Сибири, статистическое описание крупнейших сибирских городов, написан вместе со Сперанским новый устав о ссыльных и устав, уничтожающий страшный закон, в силу которого дети каторжников не выходили на волю, а тоже обречены были оставаться каторжниками... Он составлял учебники для школ взаимного обучения, учрежденных Сперанским в Сибири; докладывал о «соляных ключах Якутии», о необходимости «иметь попечение», чтобы чиновниками «не был утесняем» якутский народ. Недаром уже в старости, неволей заброшенный в Сибирь, Батеньков писал: «Многие здешние установления мною изобретены и названы. В ходе дел течет мое собственное слово».

Описание гор и рек сибирских — и «зимний океан снегов», и «олень, закинувший за спину рога», и «длинно-

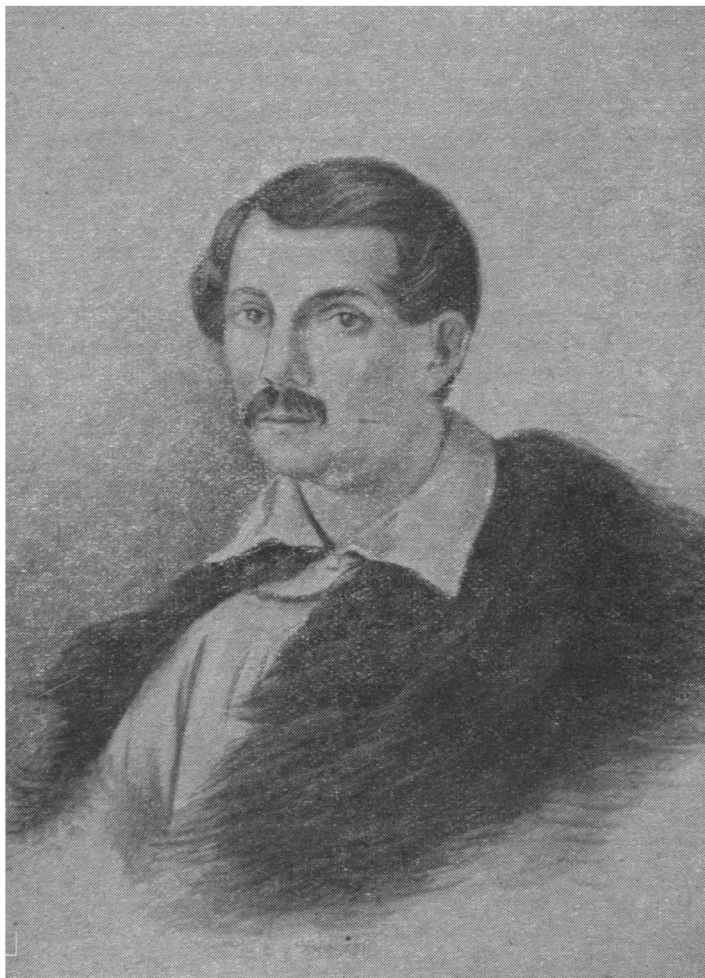
шерстный чабак», — словом, сибирские краски явились в поэме Рылеева как отблеск вечерних дружеских бесед. Впрочем, Батенькову, Штейнгелю, Рылееву, Александру Бестужеву было о чем побеседовать в эту преддекабрьскую бурную пору и помимо соляных ключей Якутии и удобств кругобайкальского тракта. У каждого из участников этих оживленных разговоров накопилось достаточно горьких наблюдений, чтобы любовь к родному народу обернулась ненавистью к его угнетателям. Александр Бестужев, хотя и был лихим танцором, щеголеватым гвардейцем и бойким литератором, желанным гостем в редакциях журналов и в светских гостиных, хотя и ожидала его впереди блестящая карьера, трезво смотрел на окружающее, и собственные успехи не заслоняли от него бедствий родного народа. С горячностью рассказывал он друзьям о возмутительной продаже крестьянских семейств в розницу, о вымогательствах чиновников, о том, как в Кронштадтском адмиралтействе матросов запрягают в телеги вместо лошадей. Батеньков не мог забыть Лоскутова, нижеудинского исправника, любителя порки; тот никогда не являлся в селах иначе, чем окруженный казаками и возами прутьев. Когда Сперанский со свитой приблизился к Нижнеудинскому уезду — люди, выбегая на дорогу, падали на колени перед его возком и неподвижно стояли по пояс в грязи с просьбами на головах. Сперанский арестовал Лоскутова. Двое белых, как лунь, стариков не поверили глазам своим и, дергая генерал-губернатора за полу, шопотом твердили ему: «Как бы тебе, батюшка, чего худого не было; ты, верно, не знаешь — ведь это сам Лоскутов!»...

В последние годы Батеньков вынужден был служить под начальством Аракчеева и вдоволь нагляделся на злодейства, творящиеся в военных поселениях, да и Штейнгель, хотя и занимал в Москве высокие посты, немало повидал и претерпел чиновничьих утеснений и козней... Что с того, что Батеньков исследовал реки и горы, богатства Сибири и нужды ее населения, — все шло прахом в руках у Аракчеевых и Лоскутовых. Что с того, что Штейнгель преобразовал иркутское адмиралтейство по последнему слову техники? Его сместили, адмиралтейство снова развалилось. Что с того, что после пожара Москвы Штейнгель славно поработал над восстановлением Кремля и колокольни Ивана Великого? Начальству он не умел угодить, двор смотрел на него косо, Александр I не любил его — он снова лишился места. Что



с того, что все они готовы работать на пользу родного народа — строить мосты и набережные, писать статьи и стихи, прокладывать дороги, водить корабли, учить ребятишек — пока делами заправляет Аракчеев и царь, дарования и добрая воля образованнейших людей России никому не нужны...

«Разговоры про правительство, негодование на оное, остроты, сарказмы встречались беспрестанно, коль скоро несколько молодых людей были вместе, — вспоминал впоследствии об этом времени Батеньков. — Зрелище военных поселений и Западной Сибири, угнетаемой самовольным и губительным управлением, общее внутреннее неустройство, общие жалобы, бедность, упадок и снижение торговли, учения и самых чувств возвышенных, неосновательность и бездействие законов — все, с одной стороны, располагало не любить существующий порядок, с другой — думать, что революция близка и неизбежна... В январе 1825 года пришла мне в первый раз мысль, что поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то мне непременно должно в ней участвовать и быть лицом историческим». К концу 1825 года сборища в доме у Синего моста сделались уже настоящими политическими сходками: там обсуждали будущую конституцию, толковали об освобождении крестьян, о способах расправы с царской фамилией и о том, что не худо было бы привлечь на сторону революции члена Государственного совета, известного резкостью и прямотой своих мнений Мордвинова и либерального законодателя Сперанского... Количество участников тайного общества росло с каждым днем. «Я почел бы себя недостойным имени русского, если бы отстал от них», — так сообщал впоследствии Батеньков о своем вступлении в общество... В этой раскаленной обстановке надвигающихся революционных событий обсуждалась в доме у Синего моста и сибирская поэма Рылеева. Александр Бестужев со свойственной ему быстротой и легкостью сочинил предисловие к поэме друга. Сибири в своем сочинении он не коснулся — Сибирь не занимала его воображения, его, как истинного романтика, более влекли к себе пламенная Таврида и снежные вершины Кавказа. Предоставив ученому приятелю Рылееву Корниловичу объяснять в примечаниях, что такое «даха», «чабак» и «юрта», Бестужев взял на себя труд изложить полную приключений биографию главного героя. И уж, конечно, слушая звучные строфы поэмы, рассеянно пропуская мимо ушей педантические замечания Штейнгеля



Александр Александрович Бестужев-Марлинский.  
Акварель Н. Бестужева.

*Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

о приемах охоты на оленя, он и вообразить себе не мог, что в поэме описан один из будущих эпизодов его собственной жизни, что скоро он сам, собственными своими глазами, увидит и Лену, и тайгу, и «толпу преступников усталых», что истину слов Данта, избранных Рылеевым в качестве эпиграфа: «Нет большего горя, как вспоминать о счастли-вом времени в несчастье...», он скоро проверит на себе са-мом, когда в якутском одиночестве станет вспоминать о петербургских друзьях.

Эти люди предугадывали судьбы России, предугадывали и судьбу восстания, но никто из них, разумеется, не знал, какая судьба в ближайшем будущем ожидает его самого. Бестужев не знал, что скоро он окажется в Якутске, в том самом Якутске, где встречаются герои поэмы Рылеева, революционер и ученый, и сам встретится там с ученым, и сам станет героем революционной поэмы, только написанной уже не Рылеевым, а другим — далеким — поэтом; седой неудачник Штейнгель не знал, что скоро в его жизни совершится еще одна неудача — последняя... Батеньков не знал, что в родную Сибирь он вернется полуодичавшим узником, разучившимся ходить, говорить, смеяться, истомленным двадцатилетним одиночным заключением, которое сведет его с ума; что в горячечном бреде в рavelине он напишет в припадке жалости к самому себе: «Милой, несчастной... Доколе ты будешь страдать? Как могло быть, что на двадцатом годе твоей жизни не нашлось от солдата до царя — кто бы тебя понял...», а очнувшись от бреда, станет вопрошать из каменного гроба стихами:

Скажите: светит ли луна?  
И есть ли птички хоть на воле?  
И дышат ли зephyры в поле?  
По-старому ль цветет весна?  
Ужели люди веселятся?  
Ужели их, их не страшит?  
Друг смеет другу поверяться  
И думает и говорит?

И сам ответит себе:

Не верю. Все переменялось.  
Земля вращается, стена,  
И солнце красное сокрылось...

Что в бреде он будет называть цели общества безумными, всячески отрицать свое участие в нем, а очнувшись, твердою рукой напишет на вопросном листе:

«Странный и ничем для меня необъяснимый припадок, продолжавшийся во время производства дела, унизил моральный мой характер... Постыдным образом отрицался я от лучшего дела моей жизни. Я не только был член Тайного общества, но член самый деятельный. Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим. Оно, выключая немногих, состояло из людей, которыми Россия всегда будет гордиться. Ежели только возможно, я имею полное право и готовность... разделить с членами его все, не выключая ничего. Болезнь во время следствия, по всей справедливости, не должна бы лишать меня сего права. Цель покушения не была ничтожна, потому что она клонилась к тому, чтобы, ежели не оспаривать, то по крайней мере привести в борение права народа и права самодержавия, ежели не иметь успеха, то по крайней мере оставить историческое воспоминание. Никто из членов не имел своекорыстных видов. Покушение 14 декабря не мятеж, как к стыду своему именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической».

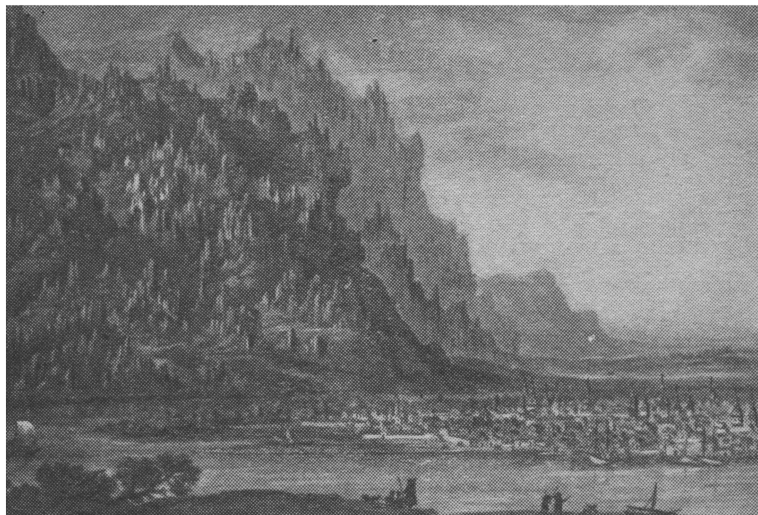
...Он не знал, что его друг, наставник, мудрый покровитель и любезный хозяин Сперанский, заподозренный Николаем в сочувствии восставшим, окажется не членом нового правительства, как предполагали заговорщики, а членом суда над ними и, чтобы заслужить доверие царя, станет ревностно изобретать для подсудимых хитроумные вопросы и со свойственным ему педантизмом, столь знакомым Батенькову по совместной работе в Сибири, разобьет осужденных на разряды, сформулирует вину каждого разряда и определит наказание. Что единственным, кто осмелится протестовать против смертной казни, будет действительно неподкупный Мордвинов...

Александр Бестужев 14 декабря энергично помогал брату своему Михаилу и князю Щепину-Ростовскому поднять и вывести на площадь московский полк. Согласно терминологии следственного дела, Александр Бестужев «во все время происшествия... возбуждал нижних чинов к буйству и к уклонению от присяги...» Он ушел с площади одним из последних, сделав тщетную попытку собрать солдат и защитить отступление... К концу ночи, когда сквозь белесый ночной туман уже занялась заря нового утра, Александр Бестужев понял, что все кончено, и решил, не скрываясь далее, явиться на гауптвахту дворца. Он явился туда надушенный и разодетый, как на бал. После короткого допроса в кабинете

царя его вывели на площадь. Взвод солдат окружил его, чтобы вести в крепость. Бестужев сам скомандовал солдатам «марш», поймал шаг и щеголевато зашагал с ними в ногу.

Его посадили в Петропавловскую крепость, в Алексеевский рavelин и заковали в железа. 10 января 1826 года он потребовал чернил и бумаги; со свойственным ему блеском и горячностью, с тем «сердечным красноречием», которым так любовался в его критических статьях Пушкин, он написал записку об истории свободомыслия в России. Он писал о казнокрадстве чиновников, о насилиях помещиков, о заколачивании палками солдат. Записка предназначалась царю. Но видно легче было произносить горячие речи перед взволнованным строем солдат, держаться храбрецом под градом пуль, лихо скомандовать «марш» конвою, который вел его в крепость, написать царю благородное послание, чем переносить зловещую тишину каземата, ожидание смерти и бесконечные провокации следователей. Николаю I удалось запутать Александра Бестужева в искусно сплетенных сетях. На допросах он сбивался и говорил иногда лишнее — во вред себе и другим. Он был приговорен к смертной казни через отсечение головы, но помилован и после года заключения в крепости Свартгольм увезен на поселение в один из городов Восточной Сибири — в Якутск... в тот самый, увековеченный Рылеевым, Якутск!

Александр Александрович прибыл на место ссылки 31 декабря 1827 года. Якутск оказался, действительно, городом: дома и церкви, богадельня, монастырь и кабаки — целых девять кабаков! лавки и люди — две с половиной тысячи жителей. Бестужев снял себе квартиру, разложил свой убогий багаж. Здесь предстоит ему жить годы и годы, но долго еще ему казалось, что бесконечная дорога все длится, что это еще только так, случайная стоянка среди пустыни, ямщицкая станция, и пока перепрягают лошадей, можно обогреться в этом приземистом домике, посидеть за самоваром, выпить 10 стаканов чая, прислушиваясь, не стучит ли кнутвищем в окно обвязанный по самые брови ямщик. Закованная льдами, занесенная снегом река, уходящая не то в снежные просторы, не то в бледное небо; прямые, пустые, короткие улицы, упирающиеся в зеленоватую зарю — все казалось Бестужеву продолжением той же дороги, и, просыпаясь по утрам, он невольно ожидал колокольчика; сейчас они промчатся через этот Якутск и оставят его позади, как оставили Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тобольск, Красно-



Якутск. Гравюра XVIII века.

*Государственный исторический музей. Москва*

ярск, Иркутск... Но дни шли за днями, а кругом все был Якутск и Якутск, и бесконечная неколебимая зима. В первое время, если Бестужев и приглядывался к городу, куда его занесла судьба, то лишь потому, что город этот был воспет Рылеевым. «Прощайте, прощайте, братья!» — звучали у Александра в ушах предсмертные слова друга, заглушаемые звоном цепей. Он не мог видеть снега на горных вершинах Кангалацкого хребта, чтобы не повторить про себя строчек из заветной поэмы:

Следил, как солнце, яркий пламень  
Разлив по тверди голубой,  
На миг за Кангалацкий камень  
Уходит летнею порой,

не мог не бормотать на своих одиноких прогулках:

В стране метелей и снегов,  
На берегу широкой Лены,  
Чернеет длинный ряд домов  
И юрт бревенчатые стены.

Однако природная живость ума и любознательность брали свое. Продолжительная скорбь и неподвижность были

несвойственны характеру Александра Бестужева. Скоро он стал смотреть на Якутск не только сквозь память о погибшем друге. Среди литературных дарований Александра Бестужева — критика и поэта — было дарование, которое теперь мы назвали бы талантом очеркиста. В 1821 году живым и увлекательным слогом описал он свою поездку в Ревель, начинив легкое повествование о белокурых красавицах и ревельских балах историческими сведениями о битвах русских с ливонскими рыцарями, о тамошних школах, о башнях старинного замка...

Постепенно Александр Бестужев начал интересоваться местом своего поселения. Не только с тоской — с живым любопытством оглядывался он вокруг. В письмах к родным среди просьб прислать книги, деньги или модный сюртук все чаще появляются описания Якутска, якутов, восторженные отзывы о красоте Лены — «этой Волги Восточной Сибири», как он назвал ее, сведения о плясках шаманов, рисунки, изображающие якутов. Один из немногих интеллигентных людей, с которыми Александру Бестужеву довелось повстречаться в Якутске, сообщил о нем:

«Бестужев утешал себя... наблюдениями той удивительной обстановки, в которой он очутился. Многие нравы якутов он записал и изобразил в рисунках и помышлял конец своей жизни посвятить изучению языка якутов и тем этнографическим вопросам, которые с их бытом связаны».

Этнографом Александр Бестужев не стал — слишком уж недолго, всего полтора года, пробыл он в Якутии, слишком уж скоро наступил конец его жизни и не в Якутии, а на Кавказе. Но внести свой вклад в изучение Сибири он успел. Сибирские очерки Бестужева должны по праву занять в его творчестве особое и притом почетное место. Их мало — раз в десять меньше, чем знаменитых романтических повестей Александра Бестужева-Марлинского, восхищавших читателей тридцатых годов изобилием приключений, пышностью слога, возвышенностью страстей. Зато они почти лишены той погони за пустым и звучным словесным эффектом, в которой впоследствии укорял Марлинского Белинский. Сибирские очерки Бестужева не привлекли внимания великого критика, а между тем они среди произведений Марлинского — настоящие острова реализма. Они насыщены чувством как подлинные произведения искусства, точны и богаты сведениями, как подлинные научные статьи. Они проникнуты искренней и ревливой любовью к людям

родной страны, к родной земле — той строгой и требовательной любовью, которая отличала писателей и ученых декабристов.

Бестужев подчеркивает храбрость, мужество, выносливость, смелость родного народа. Эпиграф к «Отрывкам из рассказов о Сибири» звучит в его устах, в устах изгнанника, как торжественный обет, как клятва:

Но всюду, всюду,  
Вблизи, вдали,  
Не позабуду  
Родной земли,

а насмешливое замечание в тексте:

«мне больно видеть, что многие Русские и даже Сибиряки повторяют набожно ошибки чужестранных профессоров потому только, что они иностранные» — знаменует самостоятельность, непредвзятость взгляда на малоизученный край и критическое отношение к предыдущим описаниям.

«Мы дивились бывало, — пишет Бестужев, — на какие опасности и лишения осуждает себя купец, пробегающий на верблюде знойные степи Африки или Аравии... Разбойники грозят разорением и рабством, удушающие ветры пышат на него смертью... зато путешествие его довольно быстро и выгоды с излишком окупают все страхи и убытки. Посмотрите же теперь на своего соотечественника, который... ежегодно проезжает дважды три тысячи верст от Якутска до Колымы и обратно в сорокаградусные морозы, по дремучим лесам и тундрам неизмеримым, не видя человеческого лица, не преклоняя головы под кров в течение трех месяцев; в беспрестанной опасности быть заметену вьюгою на пути, или стать жертвою диких зверей на ночлеге, или, что хуже всего, потеряв коней от недостатка подснежного корма, погребстись заживо в безбрежной пустыне... Тихо, один за другим, нога за ногу тянутся утомленные кони под семипудовыми вьюками. Тяжело ступают они по сугробам, на которых видны только следы звериные, только струи вчерашней метели... Странники, закутавшись в дахи и шубы, в огромных шапках шерстью вверх, называемых чабаками, и в оленьих унтах чуть не по пояс... неподвижно сидят на высоких якутских седлах. Все безмолвны. Воздух мрачен и густ; караван идет сквозь осязаемые туманы — и они медленно, сонно, будто нехотя, задвигают следом прорванную и долго видимую в воздухе стезю».



Величественная сибирская природа нашла в Бестужева своего изобразителя, своего певца. Он писал о Лене с той же влюбленностью, с какой великий Гоголь писал о Днепре.

«Сначала сердитая река, протекая между багровых скал, громоздит льдины на льдины. Как пловучие острова быстро несутся они по течению... Упираясь в тесных берегах, они образуют природную плотину; наступающий лед лезет выше и выше, нижний оссдает до дна: река вздувается, бушует — и вдруг прорывается хлябь водопадами, у коих каждый вал — ледяная громада... Так катят в море льды свои сибирские реки, изменяя ложе, срывая и пересыпая острова. Но скоро очищаются они от льду и плавуна, и тогда молчание прерывается только криком гусей, летящих в поднебесье; только подмытая сосна, падая с крутизны, на миг ломает зеркало водное, на миг пробуждает эхо. Быстро, но незаметно влечет вас течение в ворота гор, отражаясь от одной до другой щеки утесов. Вершины их обросли кедрами и елями, березы выются по расселинам, и затопленный тальник купает в струях кудри... Как диво встречаете вы человека в этом царстве запустения. Это или тунгус, припав на пловучем пне с натянутым луком, подкрадывается к дикой утке, или якут машет двуперым веслом на легкой веточке, спеша вынуть из морды стерлядь — или вверху бежит всадник на цепком коне по висящей на утесе тропинке — так что страшно взглянуть на него».

Якуты и тунгусы — нередкие гости в сибирских очерках Бестужева. На смену выразительным, но наивным рассказам промышленников, на смену педантически точным, но суховатым описаниям, исполненным учеными, явились сибирские очерки Бестужева: правдивые и в то же время увлекательно-яркие... Вот две дружные семьи — якутская и тунгусская, кочуя недалеко от Якутска, встречают страшного хищника, забежавшего из Средней Азии, барса, и вместе, героически выручая друг друга, вступают в борьбу со свирепым зверем; вот тунгусы в берестяных лодочках, называемых ветками, собираются у поворота реки и, дождавшись, пока стадо оленей спустится в воду, бьют животных маленькими копьями, поражая печень или легкие; вот рыбная ловля; вот езда на собаках; вот поверья и предания тунгусов, описание якутского женского наряда и якутского праздника «иссых» — праздника «начатков кумыса».

«Три шамана приближаются к огню... волосы их падают по плечам. Они умоляют духов не насылать падежа и

болезней. Голос их то пронзителен, то рокотен; бубны звучат повременно, и каждый из них, черпнув ложкою кумыса из огромных деревянных кубков (аях), брызжет им на огонь. Это умилоостивительное возлияние. Старшины подводят белую кобылицу и старший шаман... вырывает несколько волос из гривы и бросает в огонь; с этой минуты благословенная кобылица становится неприкосновенною. Ни седло, ни удило не будет ей знакомо: никогда ножницы не уронят с нее ни волоска».

Предания тунгусов и якутов, их поверия, их религиозные обряды — и снова влюбленное изображение сибирской тайги.

«Какое важное безмолвие в ней царствует! Тень лесов ее беспробудна! Кажется, и ветер не пролетал по ним... ни один лист не дрожит на осине; береза глеет на корне или тихо, тихо клонится на другую. Черная белка, сидя на ветке, любопытно глядит на человека — и снова принимается грызть кору; испуганный соболь мелькает вдали и быстро скачет с дерева на дерево; одинокая цапля с жалобным криком взлетает с болота, отбросив назад длинные ноги... мошки вьются столбом над кровоцветными ржавцами»...

В Якутске Александр Бестужев писал стихи. Он писал о водопаде Станового хребта, уподобляя шумное падение вод своей грозной судьбе:

Когда громám твоим внимаю  
И в кудри льется брызгов пыль, —  
Невольню я припоминаю  
Свою таинственную быль.  
Тебе подобно гордой, шумной,  
От высоты родимых скал,  
Влекомый страстию безумной,  
Я в бездну гибели упал.

Писал об облаке, гонимом по небу, — и в судьбе облака видел свою судьбу:

Блести, лети на ветерке,  
Подобно нашей доле...  
И я погибну вдалеке  
От родины и воли!..

изучал Шиллера, переводил на досуге Гете. Все это было обычно для литератора двадцатых годов. Но необычно было то, что Александр Бестужев писал не только о своей грустной судьбе, вчитывался не только в Гете: живя в Якутске,

он обратился к поэзии якутского народа, чьи сказки, предания и поверья ни разу еще не звучали в русской поэзии.

Он написал балладу «Саатырь», к которой сделал несколько интересных этнографических примечаний. «Содержание этой баллады взято из якутской сказки», — сообщает он. У якута умирает любимая жена — Саатырь. Перед смертью она говорит:

«Не вешай мой гроб на лесной вышине  
Духам, непогодам забавой;  
На родимой земле рой могилу ты мне  
И кровлей замкни величавой».

Тут же в примечаниях Бестужев поясняет: «в старину якуты вешали гробы свои на деревьях или ставили их на подрубленных пнях».

Богата этнографическим материалом строфа, посвященная похоронам Саатырь:

Вскипели котлы, задымилась кровь  
Коней — украшения стада,  
И брызжет кумыс от широких краев  
От счастья и горя услада;  
И шумно кругом, упоенья кумир  
Аях пробегает бездонный.  
Уж вянет заря. Поминательный пир  
Затих. У чувала склоненный  
Круг сонных гостей возлежит недвижим,  
Лишь в юрте, синяя, волнуется дым.

«Аях — огромный кубок, — объясняет Бестужев, — в него входит ведра полтора, но я видел удальцов, которые осушали его сразу».

«Чувал — камин, очаг; он стоит посредине юрты, спинкою ко входу».

Не сохранив ритмов и стиля якутской поэзии (при недостаточном знании языка это было Бестужеву не под силу, да и литературная форма баллады, культивируемая Жуковским, представлялась ему обязательной), он сумел использовать сюжет якутского народного сказания, обогатить свой стих чертами якутского быта. Попытки воспроизвести на русском языке прелесть туземного эпоса вообще занимали его: известно, что на обратном пути из Сибири ему удалось захватить с собою и отослать друзьям в Москву поэму декабриста Чижова — того самого, который когда-то был участником замечательного плавания Литке, а после 14 де-

кабря осужден на двадцатилетнюю ссылку в Сибирь. В 1832 году поэма Чиждова «Нуча», написанная от имени старика якута, повествующего о храбром русском юноше, который не боялся ни шаманов, ни духов, присланная в Москву Александром Бестужевым, была напечатана в журнале «Московский телеграф» за полной подписью автора. Поднялась настоящая административная буря, посыпались запросы от шефа жандармов цензору «Московского телеграфа», городничим и исправникам города Олекминска, где жил Чижов. Кто осмелился переслать стихи государственного преступника из Сибири в Москву? Кто осмелился напечатать? Но дело было уже сделано: поэма, написанная опальным поэтом, дошла до читателя. Таким образом, декабристы первыми открыли русскому читателю прелесть якутского фольклора, введя его в русскую поэзию во всем великолепном облици русского стиха пушкинской поры. В 1839 году Чижов написал на основе одного якутского поверья поэму «Воздушная дева». У якутов еще в глубокой древности существовало предание о девушке, унесенной ветром на луну. Пошла она с ведрами за водой, подул ветер, подхватил ее, унес на березу, а оттуда на луну. В ясные звездные ночи видно на небе коромысло с ведрами. Девушка стала хозяйкой луны... Вот это древнее поверье с большой поэтической силой и воспроизвел в своих стихах Чижов, трогательно изобразив тоску девушки по родной Якутии:

Однажды с облаков моих  
Мне виден шумный был Исых  
И, пляски дев и бег коней,  
Борьба и пир вокруг огней.  
Созвала там подруг весна —  
А я одна, всегда одна.  
Беспечные они поют,  
Меня же ветры вдаль несут.

Александр Бестужев прожил в Якутске недолго. Бездействие, разлука с друзьями терзали его. Что за жизнь без дружеских споров до утра, без журнальной полемики! Письма в Петербург и в Москву шли два месяца туда и два обратно — и не только тысячи верст и распутица были тому причиной. Бестужев регулярно писал братьям Михаилу и Николаю в Читинский острог — письма в Читу шли сперва в Петербург, в Третье отделение и оттуда обратно в Сибирь, но ответа не было: читинские узники лишены были права писать. Чтобы развлечь их, Александр Бестужев послал им

изображение шамана, благословляющего кобылу, — но дошел ли рисунок до них, он не знал.

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море,  
И в мрачных пропастях земли!

написал Пушкин, явно обращая последнюю строку к сибирским изгнанникам. Александр Бестужев закончил строкой этого стихотворения одно из своих писем в Читу. «Бог помочь вам, друзья мои»... Но дошла ли до них эта строка, поняли ли они, чья она — он не знал... Бестужев сделал попытку вырваться из ссылки и стал проситься в действующую армию на Кавказ, тем более, что двое его младших братьев тянули на Кавказе солдатскую ляжку: один был разжалован за участие в восстании, другой — просто за то, что носил фамилию Бестужев... Неожиданно для Александра Александровича просьба его была уважена: Николай I ничего не имел против того, чтобы подставлять головы декабристов под пули. В апреле 1829 года о Бестужеве отдано было распоряжение: «определить на службу рядовым в один из действующих против неприятеля полков Кавказского отдельного корпуса... с тем, однакоже, чтобы в случае оказанного им отличия против неприятеля не был он представляем к повышению». И снова дорога — на этот раз не зимняя, а летняя. «Вы ничего не видели, не видав Лены весною, — оживленно и восторженно писал о своем обратном пути Бестужев, — это прелесть! За каждой излучиной новое очарование... Небольшой караван мой вздымался на круть, оглашая пустыню криками бар! бар! (пошел!) и ударами бичей... Я скакал неутомимо день и ночь, бродясь через топкие болота, переплывая через широкие реки, то в берестяной лодке, то на упавшей сосне, перебираясь нередко по нескольким жердям, брошенным на вершины затопленных деревьев, и плавя коня в поводу; порой отыскивая под волнами невидную стезю на утесе, или объезжая скалу, ступившую в реку выше седла в воде; порой лепясь по крутизне, высоко висящей над бездною». И вот — вместо величавой Лены — бурный Терск... Но еще до отъезда Александра Бестужева из Сибири на Кавказ в Якутске произошла знаменательная встреча: ссыльный встретился с немецким ученым Адольфом Эрманом.

Эрман совершал путешествие по Северо-Восточной Сибири и явился в Якутск в апреле 1829 года для наблюдений

над силою земного магнетизма. Установив телескоп на широкой улице, он наблюдал звезды под пытливыми взглядами удивленных якутян: они были уверены, что чужестранец ловит своей трубой непокорную звезду, бежавшую с небосклона его родины на небосклон Якутска.

«Однажды вечером, — рассказывает в своих записках Эрман, — когда я производил астрономические наблюдения, кто-то окликнул меня по-французски. Неизвестный человек спрашивал, пожелаю ли я познакомиться с ним, узнав, что его имя Бестужев?»

Ученый приветливо пожал руку знаменитому изгнаннику. Они разговорились — и разговор их длился до утра.

Так, в Якутске после той встречи революционера с ученым, которую воспел Рылеев, состоялась новая встреча: друг Рылеева, декабрист Александр Бестужев, столько раз слышавший поэму в светлом кабинете, в доме у Синего моста, встретился с исследователем Сибири — Эрманом.

Изгнанник и ученый подружились. Бестужев, чтобы помочь Эрману, составил метеорологическую таблицу для сравнения высоты мест и по его поручению вел тщательные барометрические записи.

Он выспрашивал у Эрмана подробности путешествия по Сибири, Эрман у него — подробности событий 14 декабря. Бестужев рассказывал Эрману о Рылееве, читал на ночных прогулках стихи казненного друга, читал прерывающимся голосом поэму о Якутске:

Горит напрасно пламень пылкий,  
Я не могу полезным быть:  
Средь дальней и позорной ссылки  
Мне суждено в тоске изныть.

Мог ли он думать, слушая когда-то Рылеева, каким значением окажутся полны для него эти слова?

Русский литератор и немецкий ученый скоро расстались: Эрман отправился на Камчатку, Бестужев — на Кавказ. А через несколько лет, в Германии, в «Альманахе муз» появилась новая поэма знаменитого немецкого писателя, друга Эрмана — Шамиссо. Поэма называлась «Изгнанники». Речь в ней шла о русских революционерах. Шамиссо был ботаником, минералогом, мореплавателем и поэтом. Его романтические поэмы полны революционных предчувствий. Он воспел борьбу Греции против турок, воспел Байрона, погибшего в этой борьбе, переводил с французского

на немецкий революционные песни Беранже. В 1815—1818 годах в качестве опытного естествоиспытателя он принял участие в русском кругосветном плавании под начальством капитана Коцебу, открывшего в Тихом океане множество новых островов. Шамиссо глубоко интересовался Россией и после гибели Пушкина переводил на немецкий язык стихи великого русского поэта.

Поэма «Изгнанники» состоит из вольного перевода поэмы Рылеева и собственного, сделанного Шамиссо, стихотворного описания встречи Эрмана с Бестужевым в Якутске. Поэма замечательна как один из первых откликов западноевропейской литературы на события 14 декабря. Об этих событиях и об Александре Бестужеве рассказал немецкому поэту, вне всякого сомнения, Эрман. Рассказ его грешил неточностями, но основное было понято и передано им со слов Бестужева верно. «Убежденный в даровитости русского народа, — рассказывал об Александре Бестужеве Эрман, — он принадлежал к числу тех, которые хотели пробудить его из крепостного рабства к жизни законной и свободной».

Тема поэмы Шамиссо — возмездие. Поэт вкладывает в уста своего героя, русского революционера, гордое пророчество о неизбежной победе над насилием и деспотизмом.

Я к пропасти пришел моим путем, —

говорит Бестужев Эрману, —

Но вновь идут другие. Год за годом...  
Мечты перестают казаться сном.  
И близок день — взойдет заря народов.

Бестужев погиб, не узнав, что он стал героем поэмы, героем, в котором воплотилась для немецкого поэта революционная доблесть. Солдат одного из кавказских линейных полков — рядовой Александр Бестужев жестоко страдал от ран, от лихорадки, от бесконечной муштры, от горьких мыслей об участи братьев. «Сколько познаний, дарованных погребено вживе!» — писал он о Николае и Михаиле, отбывающих каторгу. Петр Бестужев, разжалованный в солдаты, преследованиями командира был доведен до тяжелой душевной болезни... «Петр потерял разум от приятностей; не знаю, уберегу ли его я», — писал Александр Александрович брату Павлу из Пятигорска. Больной, ежедневно оскорбляемый, одинокий, Александр Александрович

находил в себе силы писать — его бурные романтические повести печатались за подписью А. Марлинский в лучших столичных журналах. Они имели у публики шумный успех и давали автору возможность посылать деньги матери, братьям каторжникам и братьям солдатам. Но когда в 1836 году автор знаменитых повестей Александр Бестужев-Марлинский стал проситься «на службу по гражданской части, чтобы быть полезным отечеству и употребить досуг на занятия литературой», Николай написал: «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы». Эти тупые слова были для Бестужева вторым и окончательным приговором. Он понял, что на этот раз помилования ждать нечего. «Могу ли, — писал он одному из братьев, — не проводя двух месяцев на одном месте, без квартиры, без писем, без книг, без газет, то изнураясь военными трудами, то полумертвый от болезней, не вздохнуть тяжело и не позавидовать тем, которые уже кончили земное скитальчество?»

7 июня 1837 года, когда русская эскадра высадила десант на мысе Адлер, начальник экспедиции вызвал охотников на геройское дело: занять лес, где залег неприятель. Александр Бестужев шагнул вперед. Он кинулся в бой впереди цепи стрелков. Стрелки заняли лес, но смельчак-командир был изранен десятками пуль, десятками шашек.

Так последним порывом окончилась его исполненная порывов жизнь.

....Бестужев я.

От пламени и гнева

Рылеева я был воспламенен, —

написал о нем немецкий поэт.







## Глава вторая

### КРАСНОЕ СОЛНЦЕ

«Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны, словом и примером, служить делу, которому мы себя посвятили».

*Декабрист М. Лунин*

**В** Забайкалье, в Бурят-Монголии, в пятнадцати километрах к северо-западу от Ново-Селенгинска, среди отрогов Хамар-Дабана, в замкнутой горной долине лежит продолговатое озеро. В далекие времена, когда по берегам озера кочевали со своими юртами и стадами роды селенгинских бурят, среди стариков из уст в уста передавалось предание о чуде, совершившемся некогда в этой долине. Старики рассказывали, будто там, где теперь сверкают и колышутся воды озера, когда-то, давно, давно, росла высокая трава да валялись камни, и нигде не было ни речки, ни озерка, ни ключа. Посредине долины ламы построили кумирню — храм для жертвоприношений бурханам, ламаитским богам, сами поселились вокруг и вырыли неподалеку глубокий колодец. Одним утром в горах послышался подземный грохот, из колодца хлынула вода и чуть не затопила бурханов. Ламы перенесли кумирню на другое, более высокое место, но вода добралась и туда; кумирню, преследуемую водой, пришлось перенести еще выше.

Эта древняя легенда — отражение подлинной истории озера. Из-за вулканических колебаний почвы уровень воды в озере в течение веков действительно несколько раз изменялся — когда-то оно было таким мелководным, что буряты прозвали его «нога-озеро», то есть мелкое, проходимое

вброд. Неподалеку от озера, действительно, позвякивали колокольчиками, веяли на ветру пестрыми полотнищами стены древнего монастыря ламаитов. В начале XVIII века приток реки Темника, Цаган-гол, прорвался в долину и затопил ее. К началу XIX века посредине затопленной долины горбился один единственный островок — Осередец. Там гнездились утки, цапли, чайки, журавли, дикие гуси. Гусей водилось такое великое множество, что охотники, подъезжая к острову, били их палками или веслами, а на берегах собирали целые пуды гусиных перьев, годных для письма. С тех пор озеро и стало называться Гусиным.

В наше время на его берегах добывают уже не гусиные перья, а уголь. Мимо его прозрачных вод с грохотом несутся поезда. На станции Гусиное Озеро товарные составы стоят подолгу: рабочие нагружают платформы углем. За годы советской власти Бурятия, бывшая колония царской России, бесправная, беспомощная, с кочевым населением, не знавшим промышленности и едва-едва освоившим хлебопашество, превратилась в республику передового колхозного скотоводства, земледелия и крупной индустрии. Шахтеры Гусиного Озера из года в год увеличивают добычу угля, но, провожая глазами платформы, груженые черно-коричневым богатством, вспоминают ли они о судьбе изгнанника, который когда-то, 100 лет назад, бродил по пустынным берегам, прислушиваясь к тишине, прерываемой захлебывающимися звуками колокольчиков бурятской кумирни и блеянием овец, и, присев у воды на круглый камень, задумчиво заносил в записную книжку рассказы старожилов и собственные свои наблюдения?.. «Бурый уголь тонкими и толстыми пластами залегает во многих местах», — записал он однажды.

В 1854 году только что основанный в Москве журнал «Вестник естественных наук» стал печатать с продолжениями из номера в номер статью под названием «Гусиное Озеро». Подписи под статьей не было. Редакция в туманной сноске сообщала: «Статья, предлагаемая нами, составлена автором, проживающим более тридцати лет в Забайкалье». Такая неопределенность вызвана была запрещением упоминать имена декабристов в печати. Автором статьи был декабрист, отбывший в тюрьмах Сибири тринадцать лет каторжных работ и в 1839 году поселенный в Селенгинске, замечательный русский ученый, исследователь берегов Гусиного Озера, первый этнограф Бурятии — Ни-

колай Александрович Бестужев. В высоких показателях добычи угля советских гусиноозерских шахт воплощена и его благородная воля, а вклад в этнографию Бурятии, сделанный им, огромен.

Упоминания о Гусином Озере встречались в литературе и до статьи Николая Бестужева: во второй половине XVIII века в многотомном «Путешествии по разным провинциям Российского государства» знаменитого Палласа; в 1823 году в «Письмах о Сибири» Геденштрама. В 1852 году член Сибирского отдела Географического общества Сельский опубликовал об озере небольшую статью. В семидесятых годах, ссылаясь на статью Бестужева и кое в чем полемизируя с ним, писал о Гусином Озере Орлов; в восьмидесятых — Черский. В девяностых же годах статья декабриста была так незаслуженно и прочно забыта, что один из сотрудников «Горного журнала» в 1897 году заявил: «О большей части месторождений официальных сведений почти нет, а лишь только один слух, что где-то по течению тех или других рек имеются угли; поэтому и найти такие месторождения представлялось много затруднений. В конце лета 1894 года мною были осмотрены следующие из них: Гусиноозерское, Загустайское и др.» Официальных сведений о гусиноозерском месторождении действительно не было, зато неофициальные были. Следовало только прислушаться к ним...

В конце XIX века изучение берегов Гусиного Озера началось совершенно заново, как будто и не существовало сорок лет назад статьи ссыльного декабриста... Плодотворным же практически оно оказалось только в советское время, когда в начале тридцатых годов на берега Гусиного Озера прибыла специальная экспедиция, составившая подробную геологическую карту района. На первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР было принято решение «широко развернуть работы на этом участке».

Статья Николая Бестужева о Гусином Озере разительно отличается от всех предыдущих статей, описаний и очерков, посвященных той же теме. Заметка Сельского страдала излишнею беглостью; путешественники же, побывавшие вблизи Озера до Сельского и Бестужева — и Паллас, и Геденштрам, и Мартос — уделяли внимание главным образом гусиноозерскому дацану, обители ламаитского первосвященника Бандидо-Хамбы-Ламы, и подробно описывали длин-

ные многоколенные трубы, звонкие литавры, барабаны, звучащие в дни праздников в честь буддийских богов, дивились фигурам драконов, украшающих стены кумирни, и молитвенным мельницам, которые каждым своим поворотом умножают молитвы, и жертвенникам, и пестрым полотнищам.

Николай Бестужев первый посвятил Гусиному Озеру обширную обстоятельную статью, содержащую точное и подробное описание горных пород, сведения о местной флоре, об ископаемых, об истории озера, о хозяйстве бурят, кочующих на его берегах. Он воспроизвел их обычаи и нравы, он первым записал их причудливые поэтические сказки и первый из европейских исследователей заговорил о бурятском народе без всякого оттенка пренебрежительности, благожелательно и с уважением. В этом сказалась идеология Николая Бестужева, передового человека своего времени, которому чуждо было свойственное царским чиновникам презрительное отношение к туземцам как к «инородцам» и «дикарям».

Первые страницы очерка посвящены объяснению причин прибыли и убыли воды и описанию горных пород: песчаника, валунов, гранита, порфира и гнейса. Высказав уверенность, что вся история перемены уровня воды в озере есть, в сущности, история не прекращающейся в этих местах вулканической деятельности, упомянув о пластах бурого угля, Бестужев переходит к описанию совершенной им по берегам озера далекой экскурсии.

«...я предпринял сделать обход пешком вокруг озера, — пишет Бестужев, — потому что с южной его стороны я выходил везде, а по северную сторону не только я, но и никто, кроме живущих там бурят, не бывал».

Николай Бестужев почерпнул из своего «обхода» богатый этнографический материал. Емкость его небольшой статьи поистине удивительна.

«Чтобы оценить богатство очерка Н. Бестужева, — пишет проф. Азадовский, советский исследователь, восстановивший утраченное место этой статьи в этнографической науке, — достаточно отметить и перечислить те этнографические категории, которых он касается в своем описании: физический тип бурят, нравственная характеристика, описание колыбели, способы кормления ребенка, приветствия бурят, головные уборы и их ритуальное значение, описание юрты и внутреннее ее устройство, балаганы белковщиков, заготовка дров, пищи, хранение ее, напитки... Затем свадебные

обряды, калым, обычное право при белковании, способы исчисления времени и расстояния, различные гадания, ритуальное убийство животных, развлечения: борьба, скачки, а также игры детей; подробное описание кузнечного искусства, рыбной ловли — летней и зимней, и, наконец, заметки о социальном и религиозном быте (следы старого шаманства, шаманские могилы, ламаизм). Кроме того, он приводит текст (в переводе) трех сказок и одной песни, нанося попутно много метких штрихов для характеристики сказочника, аудитории, манеры рассказывания и формальных особенностей песен и сказок... Его внимание часто приковывают мельчайшие детали быта, и он тщательно и подробно их описывает. Но это не простое нанизывание фактов, которое так свойственно этнографам-коллекционерам... За мелкими деталями, за ничем не значащими мелочами он умеет разглядеть нечто важное и существенное».

Наблюдая селенгинских бурят, Николай Бестужев, действительно, сумел разглядеть «нечто важное и существенное»: он понял причины их тогдашнего неуклонного обнищания. Причинами были частые неурожаи, частые падежи скота, но главная причина крылась не здесь. Тайши, зайсаны, шуленги — бурятские старшины и начальники, — вот кто своею алчностью губил бурятский народ. Ламы — вот кто грабил его и намеренно держал в темноте и невежестве. Многие ученые позднейшего времени склонны были идеализировать внутривидовые отношения бурят, но у Николая Бестужева было острое чутье на социальную несправедливость. «Наибольшие притеснения причиняют ему (буряту) его родовичи, — написано в статье. — Так как бурятские начальники, избранные однажды, остаются в должностях на всю жизнь, то бедные буряты, которые жалуются на злоупотребления, платятся за это дорого».

Виновниками нищеты и беспорядка бурят, кроме зайсанов и тайш, Николай Бестужев справедливо считал священнослужителей ламаитской религии — лам. «Ламское сословие есть язва бурятского племени», — решительно писал он. И тут же рассказывал, как наживаются ламы на суевериях народа, стараясь при этом всячески поддерживать «отдаление бурят от русских», сознательно тормозя приобщение бурятского народа к русской — более высокой — культуре. «Ламы из неопрятности сделали даже религиозную обязанность, говоря, что умываться, а пуще того ходить в баню, держать посуду в опрятности — смертельный грех.

Они очень хорошо понимают, что приближение к русским лишает их того влияния, которое имеют они на бурят. Так, например, работник бурят в русском доме в городе уже умывается, не ест падали, а потому и обедает за одним столом с русскими; зато, если он болен, его лечат русскими лекарствами, если умрет у него отец или мать, он не имеет времени созывать много лам для трехдневных и более поминок, а в этих случаях ламы лишаются порядочной поживки. Здесь, в окрестностях, жил бурят, по прозванию Марко-богатый; он точно был богат, но ему стоило захворать и пролежать пять месяцев, чтобы сделаться нищим. Налетело множество лам, как воронов, надобно было совершать с утра до вечера моления, отгонять злого духа бубнами, трубами и прочею варварскою музыкою. Надо было обкладывать больного тѣ коровьими, то бараньими внутренностями по усмотрению лам-врачей; натурально, что trebuха доставалась на долю больного, а мясо ламам; сверх того надобно было платить и за службу, и за дружбу, и за труды, так что к концу болезни Марко-богатый стал Марко-нищий. Тогда ламы оставили его на произвол природы, которая не преминула в свою очередь без всякой платы поставить его на ноги, а те отправились искать новых жертв».

Не скрывая от читателя отрицательных черт тогдашних нравов, с горечью замечая, что буряты хитры и уклончивы, что они неопрятны, автор очерка в то же время любовно подчеркивает их трудолюбие, понятливость, сообразительность, гостеприимство. «Самый бедный из них, — отмечает Бестужев, — при посещении его даже незнакомым человеком, засыплет для него в чашу последнюю варю чая и будет сидеть после того сам голодом несколько дней». «Несмотря на все стесняющие обстоятельства, — пишет Бестужев в конце очерка о «Гусином Озере», — бурят сметлив... — ...наблюдательность развита в нем в высшей степени... ....Что же касается до умственных способностей бурят, то по моему мнению, они идут наравне со всеми лучшими племенами человеческого рода».

Нам подобное заключение представляется само собой разумеющимся. Но для того, чтобы оценить его истинный вес, мы должны вспомнить годы, когда оно было сделано. Середина прошлого века! В ту пору не только завзятым реакционерам, но и многим либерально настроенным ученым и общественным деятелям было присуще убеждение,

будто «дикие» «нецивилизованные» племена по самой своей природе неспособны к развитию..

Из всех декабристов, вышедших после каторги на поселение, Николай Александрович Бестужев был, пожалуй, наиболее подготовлен к той огромной роли в культурном развитии края, какую всем им предстояло сыграть. Он был гораздо уравновешеннее, чем брат его Александр Александрович Бестужев-Марлинский: меньше блеска и пылости, но больше серьезности и глубины. Карамзин высоко ценил его спокойную, насыщенную фактами и философскими размышлениями, прозу. Николай Александрович бывало сурово выговаривал Александру за кудреватость слога, требуя от литературы в первую очередь мыслей, а не блесков, как бы они ни сверкали. Александр спорил, негодовал, но старался исправиться: старший брат был для него во всем непререкаемый, высший авторитет. Николай Бестужев явился в Селенгинск человеком разносторонне образованным и в то же время деятелем, хозяином, практиком, мастером на все руки. Характер его, всегда хладнокровный, рассудительный и необыкновенно упорный, закалился и окреп в испытаниях 14 декабря и казематов.

Попытавшись после неудачи восстания скрыться, Николай Александрович бежал в Кронштадт, сбрил бакенбарды, надел нагольный тулуп и шапку и добрался было до Толбухина Маяка. Если бы не случайное предательство, — арестовать его не удалось бы. Спокойно и доблестно держался он на допросах; его холодная дерзость ставила в тупик следователей. По дороге в Сибирь хладнокровие и находчивость Николая Бестужева спасли жизнь брату его Михаилу: фельдъегерь, «существо», по определению Михаила Бестужева, «гноусное», эфесом сабли неистово колотил ямщика, несчастный ямщик без устали стегал лошадей, а на крутом Суксунском спуске в Пермской губернии случилась катастрофа: лошади понесли, скованный Михаил Бестужев вылетел из телеги на всем ходу, повозки других арестантов с грохотом неслись на него. Взбешенные кони били уже копытами над головой Михаила, когда Николай Бестужев бросился на помощь брату и с опасностью для жизни вытащил его из-под лошадиных копыт. В остроге Читы, в каземате Петровского завода его неисчерпаемая изобретательность постоянно выручала товарищей. Здесь он сделался искусным часовщиком,

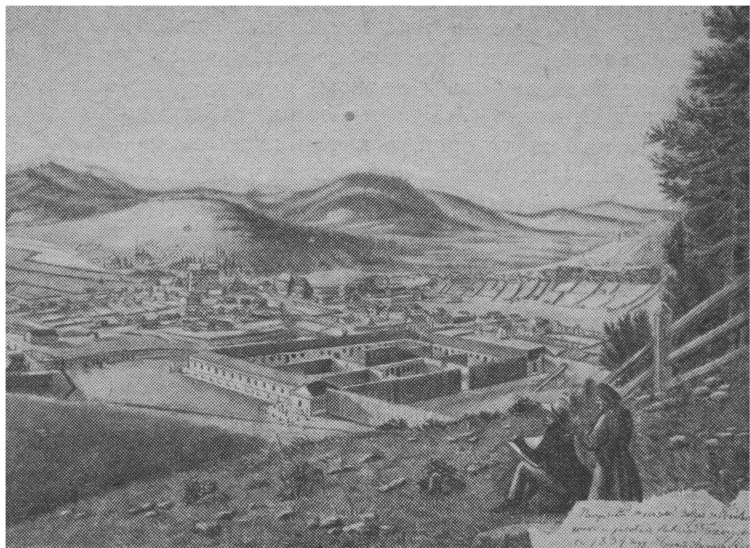


Михаил Александрович Бестужев. Акварель Н. Бестужева.

*Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*



золотых дел мастером, кузнецом, токарем, переплетчиком. По свидетельству Михаила Бестужева, вокруг «брата Николая» постоянно теснились товарищи, прося показать, как сделать одно, смастерить другое, укрепить и наладить третье. Когда в Чите декабристы завели на тюремном дворе огород, Николай Бестужев «придумал и устроил поливальную машину». Когда узникам разрешено было в сопровождении конвойного выходить по очереди за часток кол «для съемки планов», Николай Александрович сам, своими руками, смастерил все необходимые инструменты. Когда с декабристов по прошествии нескольких лет сняли оковы, которых по закону вообще не имели права на них надевать, Михаил и Николай Бестужевы затеяли целое производство: отпилив от цепей несколько звеньев, они стали выковывать перстни, дарили их друзьям, посылали в Россию родным — «как священный залог, эмблему страданий за истину». Когда декабрист Розен, окончивший срок каторги, должен был с детьми отправляться в далекий и трудный путь на поселение, Торсон выкроил для его ребенка корабельную койку из парусины, а Бестужев приспособил к койке винты и ремни с пряжками, чтобы подвешивать ее к верху дорожного тарантаса. Когда одна из доблестных женщин, последовавшая за мужем в Сибирь, жена Никиты Муравьева, Александра Григорьевна выписала из Москвы набор часовых инструментов в подарок для Николая Бестужева, он изготовил для нее в благодарность небольшие столовые часы со стеклянным циферблатом и сквозною станиною. Когда по дороге из Читы на Петровский завод путников захватил сильный ливень и в юрте им было трудно согреться, он сейчас же устроил из дерна особую печку: дым не расходился по юрте, как это обычно бывало в жилищах бурят, а уходил в круглую дыру наверху. Когда, недалеко от селения Тарбагатай, повстречался им мельник с жалобой, что мельница не хочет молоть, Николай Бестужев, с разрешения коменданта, осмотрел мельницу и объяснил, как наладить плотину. После многодневного пути они достигли Петровского завода и их снова заперли в тюрьму — в специально выстроенный при заводе каземат. Оказалось, что в этом каземате, сооруженном по указаниям царя, совсем нет наружных окон. Узники обречены были на слепоту. Жены подняли тревогу в Петербурге и когда, под воздействием негодующего общественного мнения, царь разрешил про-



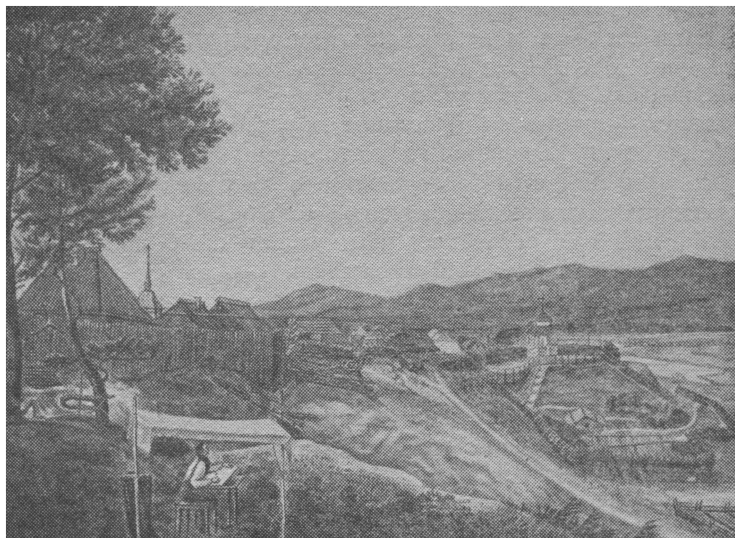
Вид Петровского завода. Справа — Николай Бестужев и конвойный.  
Акварель Н. Бестужева.

*Институт русской литературы Академии наук СССР. Ленинград*

рубить в каждой камере крошечное окошко — Николай Бестужев первый приспособил у себя в камере подмости, с помощью которых он мог вместе со станками и приборами подниматься наверх, к самому окну. Когда, не выдержав сурового климата и постоянной тревоги за мужа в тюрьме и за оставшихся в России детей, Александра Григорьевна умерла на Петровском заводе — Николай Бестужев вытесал гроб для покойницы и не простой, а особенный — «с винтами, скобами и украшениями», как рассказывает один из его друзей, — и даже, в надежде, что прах ее, согласно ее предсмертной просьбе, разрешат отправить в Россию, — отлил особый свинцовый ящик.

Технические дарования Николая Бестужева в тюрьме не угасли; дарования литератора и живописца — тоже. В Чите и на Петровском он создал целую портретную галерею своих «соузников» и их жен, запечатлев кистью искусного акварелиста облик деятелей 14 декабря и замечательных женщин, последовавших за мужьями в Сибирь; написал повесть «Отчего я не женат», «Воспоминания о Рылееве» (первую работу по истории декабрьского

движения) и большую экономическую статью «О свободе торговли и вообще промышленности». Не угасла на каторге и его преданная любовь к родному флоту. «Еще в Чите, — вспоминает Михаил Александрович, отбывавший вместе с Николаем годы каторги, а потом поселения, — когда мы набиты были, как сельди в боченке, у брата Николая зародилась благодетельная мысль: упростить хронометр и тем избавить тысячи судов, погибающих от невозможности, по великой ценности, приобрести их. Он с помощью только перочинного ножа и небольшого подпилка создал первообраз своей идеи — часы с качающимся, как на весах, коромыслом. Как это просто и коротко написать — создал. Но я потому употребил этот глагол, что брат именно создал часы из ничего. Он с помощью ножики и подпилка должен был создать токарный станок; с его помощью он должен был устроить делительную машину для нарезки зубьев, часовых колес, для проверки шестерней и пр. пр.» «Создать часы из ничего», то есть без материала, без инструментов, это, конечно, большая заслуга, но еще примечательнее, что неотступная мысль об усовершенствовании флота, о благе русских моряков и на каторге не покидала моряка Николая Бестужева. Упорство в достижении цели было у него безграничное. «Следя за развитием мореплавания, — вспоминает Михаил Александрович, — брат с прискорбием видел, что год от году крушение кораблей умножается, и главною причиною крушений была, почти всегда, неверность определения пункта в критический момент крушения от неимения хронометра, который, по дороговизне, был доступен только богачам. Он замыслил упростить его и сделать всем доступным». И эти замыслы лелеял человек, приговоренный к двадцати годам каторги, носивший на ногах цепи! Отсутствие инструментов не заставило его отказаться от любимой идеи. «Нам не давали даже иглол из опасения, что мы сделаем из них магнитную стрелку и компас и убежим», — вспоминал декабрист Завалишин. В первую пору пребывания в Чите заключенным не давали не только иглол, но и бумаги и карандаша; тот же Завалишин вынужден был писать на бумажках от содовых порошков кусочком свинца и прятать их за корешком книжного переплета. И в этих условиях Николай Бестужев продолжал работу над созданием хронометра, который в бури должен будет спасти моряков... «Николай Александрович Бестужев устроил



Чита. Акварель Н. Бестужева.

*Институт русской литературы Академии наук СССР. Ленинград*

часы своего изобретения с горизонтальным маятником... — вспоминал декабрист Беляев. — Это было истинное великое художественное произведение... Как он устроил эти часы — это загадка... Эта работа его показала, какими необыкновенными, гениальными способностями обладает он».

Через несколько лет после перевода декабристов из Читы на Петровский завод способностям Николая Александровича было найдено другое, более широкое применение. «Государственному преступнику», каторжнику, удалось принять участие в усовершенствовании производства.

Вокруг единственной доменной печи Петровского завода заботами начальства организован был настоящий ад. Печь извергала дым и пламя; рабочие, еле прикрытые войлочными панцырями, с опасностью смертельных ожогов ломали и баграми пробивали брешь в домне, которая тотчас же выпускала огненный ручей чугуна. Работали на заводе, кроме горнозаводских служителей, так называемые «приписные» крестьяне и осужденные на каторгу

преступники. С преступников даже во время работы не снимали оков: и ломом и багром орудовали они в цепях. Рабочий день длился без конца, нередко превращаясь в рабочую ночь. На заводе, по свидетельству одного из декабристов, «приписные крестьяне обречены были на участь, еще горшую каторжной». Каторжник, окончивший свой срок, был спасен, «а отверженное племя крестьян и горнозаводских служителей обречено с колыбели до совершенного истощения сил оставаться или угольщиком, или дровосеком, или кузнецом». «От колыбели», — это сказано было почти без преувеличения: дети крестьян и горнозаводских служащих «приписывались» к заводу с двух лет, а работать начинали с десяти. «Кипят в этом котле сотни рабочих всю ночь, — рассказывал очевидец, — подростки... на рабочем жаргоне «духи»... суетятся тут же». Ничем не сдерживаемый произвол начальства, по определению одного из узников, «повсеместно заменял все божеские и человеческие законы и карал заводского служителя наравне с кандалником». И ребенка наравне со взрослым, — добавим мы. Производительность этого завода, располагавшего всего одним доменным горном, тремя молотовыми горнами и двенадцатью ручными, завода, использовавшего подневольный каторжный труд, естественно была очень низкая: в двадцатых годах, через 30 лет после своего основания, ценою безжалостно загубленных жизней, он выплавлял «для кабинета его императорского величества» всего 30 тысяч пудов чугуна в год...

Декабристов, размещенных «в темных стойлах Петровского каземата», — к доменной печи, в ад, не посылали. На всем протяжении назначенных им сроков каторги начальство изобретало для них особые работы. В Чите их водили закапывать овраг, который они прозвали Чортовой могилкой, или равнять дорогу, или молоть муку. В Петровском они тоже мололи муку на ручных мельницах. К печи их не посылали не из боязни, конечно, надорвать их здоровье, а из опасения, чтобы они не принесли в рабочую среду «революционной заразы». И тюремщикам было чего опасаться!

«...большая часть преступлений вынуждена порочным устройством нашего общества, — пишет о причинах ссылки на каторгу Михаил Бестужев. — Это были жертвы то бесчеловечия помещиков или начальников, то отчаяния оскорбленного отца, мужа или жениха, то случайного разгула русской природы, и еще чаще произвола нашего бессовестного



Чита. Комендантская, или «Дамская», улица.  
Акварель декабриста Н. Репина.

*Государственный литературный музей. Москва*

и бестолкового суда». Людей, высказывающих такую точку зрения на несчастных, ввергнутых в ад каторжных работ, ни в коем случае нельзя было допустить к свободному общению с ними. Вот почему для декабристов и в Чите и в Петровском выдумывали особый режим, особые работы. Но умственное и нравственное воздействие лучших, образованнейших, передовых людей России, собранных в Петровском каземате, было слишком велико, слишком настойчиво, чтобы в конце концов в известной мере не подчинить себе и тюремное и горное начальство.

«Наше присутствие в заводе имело благотворное влияние на укрощение буйного произвола начальствующих», — вспоминал Михаил Бестужев. Декабристы стали заступниками за несчастных рабочих перед их общим начальством и учителями тех и других. Недаром Петровский каземат — унылое, безглазое здание, выкрашенное в мутножелтую краску — сначала в шутку, а потом и всерьез окружающие и сами декабристы стали называть Петровской Академией. Время, когда заключенным не давали карандаша и бумаги, миновало; через несколько лет в каземате было уже несколько десятков тысяч книг, каземат выписывал газеты и журналы на всех языках Европы, узники читали друг другу лекции по истории, математике, военным наукам, литературе, читали собственные научные и литературные произведения, давали концерты. Правительство попыталось отрезать декабристов от внешнего мира, загнав их в Сибирь,

запретив переписываться с родными, но героические русские женщины, последовавшие в Сибирь за мужьями, совершили великий общественный подвиг, прорвав правительственную блокаду и соединив Петровский каземат с Москвой и Петербургом. Под диктовку узников они регулярно писали письма их родным, якобы от своего имени, и сами постоянно извещали сочувствующее столичное общество обо всех нуждах каземата. В ответ из барских особняков в мрачное желтое здание в сырой котловине среди гор у речки Баляги по почте и с оказиями шли романы, журналы, научные книги, справочники, карты, семена редких растений, музыкальные инструменты, токарные станки, лекарства. С годами каземат сделался настоящей академией для одних, школой для других. Горнозаводские служители, местные чиновники, ссыльные и даже буряты из дальних кочевий стали посылать туда сыновей учиться грамоте, ремеслам, музыке, арифметике; а некоторые — естественным наукам, высшей математике, иностранным языкам. Известно имя бурятского юноши, одного из казематских учеников Николая Бестужева: Убугун Сарампилов. Сначала комендант ни за что не разрешал заключенным учиться; узники пошли на хитрость и попросили разрешения учить церковному пению. Разрешили. Но без грамоты не научишься петь на клиросе: разрешили учить грамоте. Так в каземате создалась школа, в которой самыми ревностными учителями были Николай и Михаил Бестужевы. С годами юноши, прошедшие курс наук в казематской школе, уезжали в Петербург продолжать образование, и нередко случалось, что ученики каземата на экзаменах в высшие учебные заведения столицы занимали первые места... Скоро в каземат, к «государственному преступнику», искусному доктору Вольфу, стали съезжаться больные не только из Забайкалья, а даже из Иркутска. Вольф прославился тем, что вылечил от смертельной болезни самого коменданта. Лекарств таких, как в каземате, во всей Сибири не было. И таких специалистов по всем областям знания. Главный начальник каземата, комендант Лепарский, собиравший коллекцию редких минералов, не приобретал ни одного нового камня, не советовался с «государственным преступником» Николаем Бестужевым. Что бы ни случилось на заводе: горн ли отказал, плотина ли прорвалась — служащие бежали в каземат к Николаю Бестужеву или другу его, Торсону. Когда же управляющим Петровским заводом стал горный инженер

Александр Ильич Арсеньев, разносторонняя деятельность Николая Бестужева и Торсона приобрела новый размах.

Арсеньев был образованный инженер, выгодно отличавшийся от другого начальства гуманным обращением с каторжанами. Он быстро завоевал симпатии рабочих завода и казематских узников. «Он был истинный отец для служителей и кандалников», — так характеризовал его Михаил Бестужев. Время, свободное от службы, Арсеньев проводил в каземате, принимая участие в бурных политических и научных спорах. «Посреди нас — он был наш; мы и он делили пополам и радость и горе», — вспоминали о нем декабристы. Когда же, по делам службы, Арсеньев уезжал в Петербург, он брал с собою целый ящик писем к родным своих казематских друзей. «Человек, каких мало на свете: честен, прямодушен, добр и благороден», — так рекомендовал Арсеньева своим сестрам Николай Бестужев в одном из писем, отправленных в Петербург с инженером. И в том же письме давал высокую оценку Арсеньеву как специалисту по горному делу: «Вы можете себе представить, что мы в нем теряем и как в благородном друге и как в управляющем... А что теряет в нем наш завод, это я предоставляю вам самим сделать заключение».

Разумеется, «гениальные способности» Николая Бестужева не ускользнули от внимания нового управляющего заводом. И, нарушая все тюремные правила, он привлек Николая Александровича к разрешению насущных проблем производства. Известен блестящий результат совместной деятельности Арсеньева, Торсона и братьев Бестужевых: им удалось перевести заводскую домну с ручного дутья на механизированное и вдвое повысить суточную производительность домны. «Пребывание наше в Петровском заводе, — свидетельствует Завалишин, — обратило внимание всех на это место. Его стали посещать и правительственные лица, и ученые, и путешественники, что и побудило горное начальство преобразовать завод. Почти все заводские постройки были возведены вновь и приноровлены к улучшенным производствам». Как сообщает в своих воспоминаниях Михаил Александрович, Николаю Бестужеву и Арсеньеву «удалось доказать, что из петровского чугуна можно делать железо не хуже шведского».

Срок каторги для братьев Бестужевых окончился в июле 1839 года. Еще задолго до дня своего освобождения — до того дня, когда мрачное желтое здание в сырой котловине



останется позади и начнется новая, неизвестная жизнь, — еще задолго до этого дня начались сборы в дорогу и предотъездные хлопоты. Надо было, чтобы сестры успели переслать им деньги, завещанные Александром Бестужевым; чтобы сестры успели выхлопотать для братьев разрешение поселиться не под Иркутском, и не в Кургане, а в Селенгинске, где уже ожидал их старый друг, отбывший каторжный срок раньше их, Константин Петрович Торсон. Надо было успеть смастерить, отлить, выковать на заводе с помощью друзей-мастеров части молотильной машины, которую задумал выстроить Торсон, и гвозди, сошники, бороны, хозяйственные приспособления, необходимые для собственного будущего хозяйства.

Бестужевы ехали в Селенгинск с обширными планами. Хозяйство, — думали они, — даст им возможность существовать безбедно, снять тяжкую заботу с усталых плеч матери и сестер. Они будут трудиться не покладая рук, они изучат местные условия и призовут на помощь технику — разве у Николая Бестужева не золотая голова, не золотые руки? Разве друг их, Торсон, не тратит сейчас столько же изобретательности и труда на усовершенствование своей молотилки, как когда-то на оснащение «Эмгетейна»? Старость еще далеко, у них еще есть время и силы, они сильны образованием, сноровкой, наукой, дружбою — они своего добьются.

В 1929 году, через девяносто лет после прибытия Бестужевых в Селенгинск, в Иркутске вышла книга «Письма из Сибири декабристов М. и Н. Бестужевых». Эти письма — живая повесть борьбы передовых русских людей за создание в глухом краю, среди кочевого народа, близ ветхого, засыпаемого песком городка, образцового хозяйства, опирающегося на технику и науку. И в то же время письма Бестужевых из Селенгинска, особенно письма Николая, — это ценнейший источник для экономической истории Забайкалья. обстоятельно и подробно, с глубоким знанием дела Николай Александрович описывает матери и сестрам приемы хлебопашества и овцеводства в Забайкалье, выделку кож, условия торговли с Китаем, соперничество между сибирскими и российскими купцами на кяхтинском рынке, климат, пожары лесов, землетрясения, ледоставы. Часто встречаются в письмах Николая Бестужева и великолепные по своей художественной выразительности описания забайкальской природы, но говорит ли он о горах, о лесах или



Базар в Клякте. Акварель Е. Карнеева (Первая четверть XIX века)

*Государственный исторический музей. Москва*

реках — всюду слышен голос деятеля, практика, хозяина, стремящегося возможно глубже проникнуть в сущность явлений природы и народного быта, а не путешественника, любующегося красивыми видами. Занят он не столько описаниями красоты гор и рек, хотя он описывает их с большой любовью, сколько изображением человеческого труда на полях, на горах, на пастбищах, изображением всех приемов этого труда и плодов его.

«Ты нашего края не обижай, называя его бесхлебным, — пишет он сестре Елене в июне 1841 года, — кругом нас места чрезвычайно хлебородные и землепашество к югу, т. е. к Китайской границе, при трудолюбии тамошних жителей, по способу обработки земли, если не может сравняться с иностранным, то по урожайности, конечно, его превосходит. Здесь по Чикою реке есть селения, где не только равнины, но даже горы до самых вершин запахиваются, куда соху надо завозить верхом или заносить руками и где пашут на таких крутизнах, что борозду можно только делать

сверху, а на верх соху опять заносить на руках должно. Этот пример трудолюбия вознаграждается почти всегдашними урожаями. Внизу по течению Селенги есть старообрядческие многолюдные селения, которые также щеголяют хлебопашеством; особенно известна так называемая Тарбагатайская пшеница».

Замечательны те строки одного из писем Николая Бестужева к сестре, в которых он объясняет понижение урожаев в Забайкалье тем, что люди не берегут лес. В этих отрывках виден проникательный ученый, ясно понимающий зависимость, какая существует между лесами и плодородностью края.

«Частые пожары лесов, — пишет он сестре в августе 1841 года, — распространение народонаселения, для которого нужны и строевой лес, и дрова, частью истребили, частью изредили прежние дремучие леса, где хранились в неосыхаемых болотах запасы вод, питавшие реки и горные источники. Болота высохли, реки обмелели, источники иссякли совершенно, и хлеб родится ныне только в смочные годы, тогда как прежде урожаи были почти баснословные... То же самое сделалось и с травой: с утратою леса обнажились поля... весенние жестокие ветры начали выдувать песок с обнаженных лугов; в одном месте вырваны глубокие буераки, на другое нанесены песчаные холмы...»

Богаты письма Николая Бестужева и наблюдениями над бытом и нравами бурят. Рассказывает он о том, как буряты готовят пищу, как они варят чай, о бурятских юртах, о том, как буряты пасут свои стада, как сеют хлеб, как совершают моления перед своими богами. В этом смысле письма к родным являются для этнографа ценным приложением к статье о Гусином озере. Но, к сожалению, те же письма могут служить печальной повестью хозяйственных неудач маленькой декабристской колонии, образовавшейся в сороковых годах прошлого века на левом берегу Селенги, в трех верстах от города.

Колония состояла из Михаила и Николая Бестужевых, Константина Петровича Торсона и вскоре приехавших к Торсону матери и сестры. Жили они близко друг от друга; домик, в котором помещались Бестужевы, был отделен от домика Торсона только глубоким оврагом. Бестужевы и Торсон постепенно приобрели и построили на своей заимке амбары, конюшни, сарай, флигеля. Правительство выделило каждому из них в шестнадцати верстах от жилья не-

большой земельный надел. Все они работали безустали. Торсон был одержим идеей внедрения в сельское хозяйство машин. Это была его мечта, его забота, его болезнь, его жизнь. «Он, — сообщает Михаил Бестужев, — хотел основать по своему проекту мукомольную мельницу, крупчатку, молотильню и веялку — с одной действующею силою — и потом образовать механическое заведение для снабжения всего края механическими орудиями для производства работ по всем отраслям сельского хозяйства».

На собственные скудные средства и по собственным чертежам Торсон соорудил молотилку: «увидевши, с какой легкостью и чистотою она вымолачивает зерно, мелкие земледельцы сами пожелают избавиться себя от труда работать», — рассчитывал он. «Я хочу делать машины для пользы людей, чтобы облегчить земледелие здешнего края», — упорно твердил он в беседах с друзьями. И что же? Как видно из писем Бестужевых и из других документов, никто не пожелал пользоваться его молотилкой. Она стояла в сарае безобразным остовом неудавшейся жизни, и строитель не раз говорил, что он с удовольствием сжег бы свое сооружение, если бы не боялся спалить постройки... Бестужевы оросили свой участок, сеяли хлеб, устроили неизвестные до них в том краю парники, столярничали, расширяли постройки, но главные свои хозяйственные надежды возложили на разведение тонкорунных овец. Войдя в товарищество с селенгинскими купцами, они на деньги брата Александра приобрели 500 голов меринсовых тонкорунных овец и умелым уходом, запасливой заготовкой сена на зиму привели стадо в прекрасное состояние. В то время как у соседей нередко погибали целые стада от насморков и поносов, а чаще оттого, что скот и зимой держали на подножном корму и в снежные зимы он не в силах был добывать себе траву из-под снега, овцы Бестужевых тучнели, давали прекрасный приплод и мерлушку высшего качества. И что же? Никто не приобретал ни ягнят, ни мерлушки. Стадо не окупалось. Деньги и труды были пущены на ветер. В чем же крылась причина жестокой неудачи Бестужевых?

В 1947 году к тридцатилетнему юбилею Бурят-Монгольской АССР вышел сборник статей под названием «Бурят-Монголия за 30 лет Советской власти».

«До революции сельское хозяйство нашей республики велось самым отсталым образом, — написано в одной из статей этого сборника. — Скот, основной источник

существования сельского населения, днем и ночью, зимой и летом, содержался под открытым небом. Судьба скотовода-кочевника полностью и безраздельно находилась во власти капризов природы. Во время зимних буранов и весенней гололедицы погибали сотни и тысячи голов скота. Огромное количество скота болело разного рода заразными заболеваниями — такими, как чума, сибирская язва и др....

...Историческую роль в коренном преобразовании сельского хозяйства республики сыграло принятое в мае 1929 года ЦК ВКП(б) постановление о ликвидации дореволюционных земельных отношений, о переводе на оседлость кочевого и полукочевого населения Бурят-Монголии...

Вместе с колхозами пришли на поля республики сложнейшие сельскохозяйственные машины».

Какими гениальными способностями, каким тонким и точным чувством будущего надо было обладать, чтобы 100 лет назад ухватиться именно за те звенья хозяйства, за которые можно вытянуть всю цепь! Однако до осуществления государственной заботы об улучшении народного хозяйства было далеко, а настоящее и тут задушило мечту декабристов. Хозяйственные нужды края были ясны им, но даже они, передовые люди своего времени, не в состоянии были осознать, в какой степени отсталость тогдашнего хозяйства Бурятии была обусловлена отсталостью всего социального строя. В царской России среди кочевого народа, среди векового невежества, поддерживаемого бурятскими тайшами, ламами и царскими чиновниками, объективных предпосылок для реорганизации хозяйства на основе науки и техники не существовало. Опыт разведения тонкорунных овец в Селенгинске в те времена не мог не остаться бесплодным: шерсть некуда было сбывать. Своих фабрик в тогдашней Бурятии не было; не было и железных дорог, по которым можно было бы дешево доставлять шерсть на фабрики России. Опыт Бестужевых не мог привиться. Содержание породистых овец требовало запасов сена, а кочевники запасов не делали. Для использования молотилки Торсона требовались крупные хозяйства, а хозяйства кругом были мелкие. Объективные экономические условия были против хозяйственных начинаний пионеров науки в Бурятии; против них была и невежественная, реакционная, трусливая власть.

Согласно инструкции, данной местному начальнику всемогущим Третьим отделением, самые простые и естествен-

ные действия были поселенным декабристам запрещены. Торсон хотел посоветоваться о чертежах своей молотильной машины с петербургскими специалистами и для этого послал чертежи и статью с описанием усовершенствованной им машины в Петербург. Статьи, чертежи, письмо — все должно было пройти через Третье отделение. И все приказано было вернуть в Селенгинск; причем селенгинскому городничему предписано было вручить статью «преступнику Торсону с объявлением, что предписанием графа Бенкендорфа не дозволяется государственным преступникам к кому-либо посылать свои сочинения, как не соответствующие положению преступников»...

Инструкция запрещала декабристам удаляться без особого разрешения более чем на 15 верст от своего дома, а между тем земли, предоставленные Бестужевым под сенокос и пахоту, были расположены от них в 16 верстах. Обычно на их поездки смотрели сквозь пальцы, но когда среди местных чиновников оказывался особенно старательный негодяй, он начинал теснить беззащитных, разъяря Бестужевым, что для отлучки на покос им надлежит писать в Петербург на имя шефа жандармов, с просьбой испросить у государя «высочайшее разрешение» на выезд. Однажды, чтобы пристыдить тюремщиков и подчеркнуть нелепость подобных предписаний, Бестужевы и написали такую просьбу.

«Ваше высокопревосходительство! — писали братья, — известились мы, что в наши пашни, засеянные пшеницей, разломав преграду, ворвались 20 голов рогатого скота и стадо овец... и начали травить почти созревшую жатву. Но т. к. по инструкции... нам не позволено ехать далее 15 верст от нашего жительствова, а пашни отстоят от нас в 16 верстах, то мы в необходимости нашли обратиться к вашему высокопревосходительству со всепокорнейшей просьбой доложить государю императору для получения милостивого разрешения ехать на пашню, чтобы выгнать скота».

«Просьба осталась без ответа, — рассказывает Михаил Бестужев, — а распоряжение осталось во всей своей силе и давало оружие какому-нибудь квартальному делать нам притеснения на каждом шагу».

Бедность теснила Бестужевых: хозяйство, на которое было положено столько трудов, не давало дохода. Николай Александрович мрачнел. Черные мысли одолевали его. Он выхлопотал для себя разрешение съездить в Кяхту и там занялся живописью. Он любил писать маслом и акварелью.

В Чите и в Петровском каземате он исполнил «для истории» портреты всех своих товарищей. Теперь он работал для денег: местные купцы и купчихи, чиновники и чиновницы наперебой заказывали ему свои портреты. Он был в моде, кистью он заработал немало. Деньги были нужны: матушка скончалась, сестры выхлопотали у царя разрешение приехать в Селенгинск. Это было великое счастье — увидеться с милыми сердцу после двадцати трех лет разлуки, но расходы увеличились, а стадо овец и пашни не давали дохода. Сестра Елена ласково уговаривала Николая вспомнить, что он писатель, что он писал когда-то повести, статьи, очерки, и снова писать. Но к чему это, если написанное обречено умереть в том же столе, на котором родится — ведь «государственным преступникам не дозволяется к кому-либо посылать свои сочинения, как несоответствующие положению преступников». На Петровском заводе он писал, а что толку? Крысы по ночам грызут бумаги. Николай Александрович мрачнел. От черных мыслей некуда было деваться. Брата Александра убили, брата Петра свели с ума. А сам он жив и в здравом рассудке, но никогда не увидит плодов труда рук своих. Остатки жизни он ухлопал на усовершенствование хронометров и что же? Постоянное отставание одного из них — всего  $\frac{1}{10}$  секунды: результат лучше, чем у англичан и французов, но завершить работу нельзя, потому что в Сибири невозможно достать прокатанной латуни для станин. Он написал Струве, директору Пулковской обсерватории, в Петербург. Такая латунь, прокатанная через плющильные станки, продавалась в Петербурге готовая. Но передал ли письмо Бенкендорф? Ответа нет. Видно, упрощение хронометров для пользы родного флота тоже «не соответствует положению преступников».

Черные мысли одолевали его, теснили сильнее, чем бедность. Он не сдавался, конечно. Мужество не покидало его. Он, тот самый Николай Бестужев, о чьих гордых ответах на следствии ходили в Петербурге легенды. На следствии, в числе многих других, его обвиняли в «умысле на цареубийство». Среди членов комиссии был князь Кутузов, некогда принимавший участие в убийстве Павла. «Скажите, капитан, — обратился он к Бестужеву, — как могли вы решиться на такое гнусное покушение?» «Я удивляюсь, князь, — высокомерно, подняв брови, отвечал ему Бестужев, — что этот вопрос задаете мне вы!» Сам следователь следователей — царь — обещал Николаю Бестужеву помило-

вание, если он раскается и впредь будет верным слугой. «Все в моих руках, я могу простить вам». «В том-то и несчастье, — ответил Бестужев, — что вы все можете сделать; что вы выше закона! А мы желаем, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности».

Он и сейчас был тот же — непреклонный и мужественный, любимый товарищами, боготворимый родными, почитаемый бурятами, вызывающий уважение и страх даже у начальства. Это был тот самый Николай Бестужев, который из камеры Петровского каземата написал брату Александру: «Мы думаем, что несчастье должно переносить с достоинством; что всякое выражение скорби неприлично в нашем положении». И не было выражения скорби, не было, хотя черные мысли томили его, мрачность одолевала. Была упорная ежедневная работа на пользу того края, в котором он оказался.

В 1853 году, в «Трудах Вольного экономического общества», Николаю Бестужеву удалось поместить, разумеется без подписи, два очерка: «О бурятском хозяйстве» и «О новоизобретенном в Сибири экипаже».

В первом очерке рассказано о земледелии и скотоводстве. Немногими, но точно найденными словами определяет автор статьи причины, обуславливающие убожество скотоводства кочевников. «Буряты кормят только дойных коров и овец для молока, — пишет он, — а яловые коровы питаются подножным кормом всю зиму». Однако, делая эти замечания, Бестужев понимает отлично, что причина такого бесхозяйственного обращения со скотом вызывается не прихотью, а жестокой экономической необходимостью. «Не у всех есть покосы, — говорит он, — стало быть, не у всех и запасы сена». И вот результат, вызывающий бедствия, голод, нужду в целом крае: «...скотина не может добывать себе пищу из-под глубокого снега, какой был, например, прошлой зимой, и у нас за Байкалом вывалились сотни тысяч скота, лошадей, баранов».

В статье «О бурятском хозяйстве», как и в статье «Гусиное озеро», Николай Бестужев с любовью подчеркивает трудолюбие и добросовестность бурят.

«Бурят — и плотник, и кузнец, — пишет он, — и столяр, и пахарь, и косец... Чрезвычайно просто и остроумно плавят они дрова по быстрым нашим рекам, усеянным островами, отмелями, каменными грядами. Они делают из четырех



нетолстых бревен раму и опускают ее на воду; в эту раму бросают дрова как попало и накидывают таким образом сажень до 15. Верхние дрова погружают нижние, а эти, в свою очередь, по удельному своему весу, приподнимаются, и, таким образом, на воде составляется куча, выпуклая сверху и снизу, сдержанная с боков рамою, а снизу — переплетенным положением дров и собственным стремлением кверху. К этой раме приделывают две петли и таким образом переходят пространство верст на 50 и более между всех опасностей горной реки». В очерке о «сидейках» — экипажах, изобретенных им совместно с братом Михаилом, отчетливо проступают главные черты Николая Бестужева, не только этнографа, наблюдателя, ученого, но и просветителя-практика. Он с гордостью сообщает, что через год после изобретения сидеек, оказавшихся весьма удобными для узких горных дорог, он «нашел бесконечное число подражаний». «Жители, — пишет он, — признавались мне, что с той поры, как они стали ездить на сидейках, верховая езда ими вовсе оставлена: маленькая сидейка везде пройдет, где пройдет и верховая лошадь». И, приведя чертежи новоизобретенного экипажа, автор добавляет: «вовсе не желаю, чтобы эта выдумка была под нашим именем, но приятно бы было видеть, если бы она пошла на пользу соотечественникам русским, как она оказалась полезною, легкою и удобною сибирякам!»

Ни тоска, ни придирки начальства, ни хозяйственные неудачи, ни «нужда, хватающая за бока», не властны были разлучить Николая Бестужева с приборами и станками.

Он собрал и, пользуясь микроскопом, подверг исследованию метеориты, выпавшие в 1853 году под Селенгинском, на урочищах Зуи и Бургас-Тай. «Характер камней и состав их различен, — писал он одному из ученых сотрудников «Горного Журнала», — некоторые имеют совершенно вид и свойства кровавиков; другие заключают жилки кварца; третьи похожи более на железные шлаки, нежели на самую руду. Одни имеют сильную степень магнитности, другие вовсе не оказывают действия на магнитную стрелку». У себя в домике Николай Александрович устроил обсерваторию, где производил метеорологические, астрономические и сейсмологические наблюдения. Он наблюдал и записывал убыль и прибывь воды на реке Селенге. «Частые... землетрясения здесь навели меня на идею повесить на проволоке 20-фунтовое

ядро со шпилькой внизу, — сообщал он в одном из писем. — Эта шпилька опущена концом в ящик с мелким песком и при каждом землетрясении чертит его направление. Но тут открылось другое: шпилька показывает тихое колебание почвы и, как я веду метеорологический журнал, где записывается также повышение и понижения воды в Селенгинске, то согласие убыли и прибыли воды поразительно. Сверх того... я устроил верные часы: погрешности их точно так же соответствуют колебаниям почвы. Если шпилька неподвижна, часы мои делают погрешности, не превосходящие нескольких десятых секунды, но за секунду не переходят. Я поверяю их еженежно по звездным наблюдениям, для чего у меня род пассатного инструмента с трубою». Не ограничиваясь научными наблюдениями, он, как всегда, стремился изменять окружающий быт, вводить в него усовершенствования и, как всегда, успевал в этом: изобрел печь простейшей кладки, которая требовала мало дров и долго хранила тепло. «Огонь пропускаясь из горнила вверх, откуда оборотами вниз, потом колодцем оборачивался снова кверху, — рассказывает биограф Николая Александровича. — Весь секрет заключался в том, что труба приходилась под последним колодцем». Изготавливая для себя охотничьи принадлежности (в последние годы вместе со своими друзьями, охотниками-бурятами, он часто ходил на охоту), Николай Александрович попутно изобрел новый ружейный замок и послал его схему в Петербург, в штаб, предлагая использовать в армии... Но не было ответа из Петербурга.

Не было ответа и от Струве, части хронометра валялись разобранными, и Николай Александрович начал поглядывать на них с той же ненавистью, с какой Торсон глядел на никому ненужную молотилку. Они обречены на бесплодие, ни одному из их замыслов не дано воплотиться, — вот почему и перо, и часы, и рубанок, и кисть, и ружье часто стали падать из рук.

Но вот однажды во флигель к Бестужевым, где Николай Александрович устроил свою мастерскую, постучался незнакомый человек и приходом своим хоть ненадолго, хоть на день разогнал мрачные мысли, точившие хозяина.

— Ты не помнишь меня? — спросил по-русски молодой, высокий бурят, напряженно, но точно выговаривая русские слова. — Я Убугун Сарампилов.

Николай Александрович, стоящий у мольберта, отложил палитру и кисть, — он писал акварелью высокую гору, одетую лесом и быструю реку, несущую льды, — и выпрямился, прищурясь, вспоминая, вглядываясь. Убугун тоже вгляделся и увидел, как постарел, осунулся этот человек, который там, в каземате, казался ему таким спокойным и сильным, — нет, всемогущим... Какие темные глубокие тени легли у него под глазами.

И вдруг взгляд Николая Александровича стал приветливым, тени согнала улыбка. Он вспомнил.

Убугун Сарампилов, бурятский юноша, который вошел когда-то в каземат, опасливо оглядываясь вокруг, который пугался простого токарного станка и ни слова не говорил по-русски!

Николай Александрович повел гостя в дом и позвал брата. Торжественно и наивно улыбаясь, Убугун скинул с плеча кожаный опрятный мешок и, освобождая место на столе, сдвинул на край разбросанные по столу книги. Братья, не понимая, глядели друг на друга. А Убугун вынул из мешка зрительную трубу, два бинокля и музыкальный ящик, сразу заигравший на столе бурятскую пастушескую песню.

— Помнишь — ты учил меня? — спросил Убугун. — Это я сделал сам. — Он протянул Николаю Александровичу бинокль. — Смотри!

И, продолжая улыбаться той же торжественной и наивной улыбкой, он, как после долгой дороги, опустил на стул.

Бурятский мальчик превзошел все ожидания учителя. Когда-то, в каземате, Николай Александрович объяснил ему, как работать на токарном станке, выучил немного по-русски, дал книг, потом объяснил теорию увеличительных стекол, сделал схемы орудий часового и слесарного мастерства, снабдил сталью и осколками толстых стекол от зеркал и стаканов. Все пошло в ход, все нашло применение в руках у способного юноши... Бестужев приложил бинокль к глазам. Бинокль показывал, как на ладони, теснимые песчаными заносами улицы старого города, домики знакомых чиновников. Отличный бинокль.

Братья проэкзаменовали молодого бурята, подарили ему книги и обещали побывать у него в юрте.

Встреча с Сарампиловым напомнила Николаю Александровичу день, когда он, когда все они впервые по-



Стоянка декабристов по дороге из Читы на Петровский завод.  
Рисунок тушью декабриста В. Ивашева.

*Государственный литературный музей. Москва*

встречались с бурятами. Это было в 1830 году при переходе из Читы на Петровский завод. Бестужев любил перебирать в памяти эпизоды этого путешествия. Как давно это было, как все, в сущности, были тогда еще молоды! Как счастливы тем, что хоть и под конвоем, которому приказано показывать «свирепый вид», а все-таки шагают по вольной степи и видят горы, звезды, небо не через решетки, не через частокол. Сколько шуток, смеха, веселья, хотя направляются они из тюрьмы в тюрьму. Как смеялись над Кюхельбекером, который принял Марс за Венеру... Шли они и отдыхали, окруженные бурятами. Местное начальство, щеголяя усердием, за месяц, боясь опоздать, согнало бурят на эту дорогу, чтобы застилать болота и выставлять путникам войлочные юрты. Буряты, оторванные от своих кочевий, умирали с голоду... Исправники, заседатели, тайши, не желая допустить сближения изгнанников с бурятами, предупредительно внушили кочевникам, что эти узники, шагающие среди солдат по степи, — злые духи, жадные драконы, способные похитить каждого и улететь в небеса... Как удивлялись буряты, увидя

в этих страшных драконах добрых товарищей, которые доотвала кормили их, слушали их сказки и песни, ласкали их ребятишек, играли с ними в шахматы... Оказалось, буряты отличные шахматисты, им случалось выигрывать даже у таких умников, как Басаргин... Честный, сметливый, добрый народ, с ними декабристы подружились в пути. «Государственные преступники» пытались даже объяснить своим новым друзьям, что произошло 14 декабря в Петербурге. Одни испуганно отходили, другие широко улыбались в ответ... Как тогда кружилась голова от вестей об июльской революции, нагнавших их недалеко от Петровского; быть может, и в России свобода близка? Узники хором пели марсельезу. Все казалось возможным. Как кружилась голова от стихов Одоевского, сочиненных в дороге:

Шепчут деревья над юртами,  
Стража окликает страж, —  
Вещий голос сонным слышится  
С родины святой.  
За святую Русь неволя и казни —  
Радость и слава.  
Весело ляжем живые  
За святую Русь.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
Славим нашу Русь, в неволе поем  
Вольность святую.  
Весело ляжем живые  
В могилу за святую Русь.

И в самом деле: легли живыми в могилу. Желтое безглазое здание в сырой котловине — чем не могила?

Нет, конечно, он и теперь не сдавался. Он работает и будет работать, как работал всегда. Славный народ буряты, благородный, благодарный, талантливый, — какая трогательная улыбка была на лице у этого Убугуна, когда он вынул из мешка свой бинокль... Шутка ли! Первые увеличительные стекла, выточенные рукою буряты... Но черные мысли не покидали Бестужева. С грустной отрадой, таясь от сестер и от брата Михаила, перечитывал Николай Александрович запись в старой тюремной записной книжке.

«И я разнообразю жизнь свою... Обвиняю колечки, стучу молотком, мажу кистью, бросаю землю лопатою; часто пот льет с меня градом, часто я утомляюсь до того, что не в силах пошевелить перстом, а со всем тем каждый

удар маятника, каждый миг времени падает на меня, как капля холодной воды на голову безумного, ложатся, как щелчки к наболевшему месту... Я хочу жизни, а лежу в могиле — я обманут в своих расчетах.

Я сделал все, чтобы меня расстреляли, я не рассчитывал на выигрыш жизни — и не знаю, что с ним делать. Если жить, то действовать, а недейтельность хуже католического чистилища, и потому я пилю, строгаю, копаю, малюю, а время все-таки холодными каплями падает мне на горячую безумную голову и тут же присоединяются щелчки по бедному больному сердцу».

Сейчас он на воле, но разве эта скудная воля не та же тюрьма? Разве он не обречен на бездействие? И он так же строгают, стучит молотком, мажет кистью, учится, изобретает, учит, но холодные капли времени падают на бедную голову и на бедное больное сердце.

В 1853 году началась война с турками, англичанами и французами. В 1854-м вражеский флот осадил Севастополь. Чувство гордости, удивления, зависти охватывало Николая Бестужева, когда до Селенгинска доходили вести о новых и новых подвигах русских моряков. Чувство гнева, когда доползали страшные слухи о воровстве интендантов, о том, что приближенные царя наживаются на войне, моря матросов голодом, снабжая их гнилыми сапогами, оставляя под пулями без оружия... И он, ученый моряк, был здесь, в засыпаемом песком Селенгинске, ничем не властный помочь морякам! Он так и не успел сделать для них новый, более точный, хронометр. Торсон, чья могила уже белеет в долине, у подножия горы, — Торсон не успел заново оснастить корабли... Постоянная тревога, томившая Николая Бестужева последние годы, нашла, наконец, свое имя: Севастополь.

«А каковы наши моряки и артиллеристы!» — писал он одному из своих старых друзей. «Меня оживили хорошие известия о славных делах наших моряков, — писал он другому, — но горизонт омрачается. Не знаю, удастся ли нам справиться с французами и англичанами вместе, но крепко бы хотелось, чтобы наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех частях света».

Осенью 1854 года он испросил разрешение поехать в Иркутск. Ему хотелось побыть в большом городе, среди людей, туда скорее добирались вести. Но вести приходили

грозные: наследие аракчеевщины изнутри губило нашу армию, наш флот; бездарность, а то и прямое предательство царских министров сводило на нет все усилия доблестных защитников Севастополя. Угрюмым возвращался Николай Бестужев домой. В дороге он уступил теплое место внутри повозки семейству бедного чиновника, а сам сел на козлы рядом с кучером. Жестокий ветер прохватил его, когда они переправлялись через Байкал. Домой, в уютный домик с колоннами, он вернулся больным. Сестры молили его разрешить позвать врача; он не позволил. Он лег в постель и замолчал. Окружающие шептались друг другу, что у него воспаление легких, или, как говорили тогда, — горячка, но сам он был уверен, что болезнь его зовется иначе: Севастополь. Лежа с закрытыми глазами, Николай Бестужев снова видел карре на площади Сената, он заново, с небывалым отчаянием и гневом, переживал поражение 14 декабря. Вот оно, когда наступила расплата! Их каторга, их страдания — все это вздор. Сейчас не они — сейчас Россия расплачивается за их тогдашнюю неудачу. Если бы они тогда овладели дворцом, прогнали царя, казнили Аракчеева, освободили крестьян, ввели новые порядки в стране, в армии, во флоте, то из Севастополя приходили бы сейчас другие, счастливые, вести... Не открывая глаз, сжимая зубы, чтобы не стонать, он свежо, как впервые, снова пережил боль и стыд поражения и того позорища, которому их подвергли после комедии суда. Их, русских моряков, их, героев Отечественной войны, открывателей новых стран, кораблестроителей, механиков, путешественников, их, надежду и цвет русского флота, привезли на арестантском судне в Кронштадт и под конвоем выстроили на палубе флагманского корабля «Князь Владимир».

Перед лицом матросов и офицеров, толпившихся на палубах «Владимира» и ближних судов, над ними сломали шпаги, с них сорвали мундиры... Читая приговор, адмирал Кроун еле владел голосом, а матросы конвоя, державшие ружья на-караул, утирали кулаками слезы. Они плакали от горя, оттого, что были бессильны защитить тех, кого любили... И вот теперь — страшная расплата за тогдашнюю немощь: Севастополь.

Николай Александрович застонал и открыл глаза. Михаил наклонился над ним со стаканом, думая, что больной просит пить. Но Николай отстранил стакан.

— Скажи, нет ли чего утешительного? — шопотом спросил он.

И Михаил понял: Севастополь.

Николай Александрович Бестужев скончался в Селенгинске 15 мая 1855 года. Через несколько дней после его смерти от астронома Струве, из Петербурга, на его имя пришел ящик: там была прокатанная латунь. Могила Николая Бестужева рядом с могилой Торсона. Память о маленькой декабристской колонии на левом берегу Селенги долго жила среди селенгинских бурят.

Старая бурятка, Жигмыт Анаева, рассказывала в двадцатых годах нашего века, как бурятские ребятишки караулили когда-то прогулки Бестужевых: знали, что те и поговорят с ними, и расспросят, и книжку дадут, и конфетами оделят. «Бедных с ног до головы одевали, — рассказывала Жигмыт. — Больных лечили, всех равно — и бурят, и русских». Сосед Жигмыт Анаевой, Батушка Отхонов, мальчиком учился у Николая Бестужева. Да и не он один...

Когда в 1940 году в Музее восточных культур в Москве была организована выставка бурят-монгольского искусства, мастера Советской Бурят-Монголии, съехавшиеся в Москву, поминали добрым словом учителя их дедов — Николая Бестужева.

...В школах Советской Бурят-Монголии обучаются теперь десятки тысяч детей, в республике 10 техникумов, 3 вуза, более трехсот библиотек, 4 театра. В республике выросли сотни специалистов по всем отраслям культуры, промышленного и колхозного строительства: инженеры, врачи, агрономы, зоотехники, овцеводы, доярки, шахтеры... И кто знает — тот юноша, что сейчас берет на себя новые обязательства по сверхплановой добыче угля в гусиноозерских шахтах — не внук ли он Убугуна Сарампилова, ученика декабриста?

Улан-Норан — звали буряты своего учителя и друга — Красное солнце.







## Глава третья

### НЕИЗВЕСТНЫЕ СОТРУДНИКИ ЗНАМЕНИТЫХ УЧЕНЫХ

«Почитай науки, художества и ремесло. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих».

*Катехизис Общества соединенных славян, п. 7.*

**В** Ленинграде, на Аптекарском острове тянется вершинами в небо, зеленеет, шумит, разрастается Ботанический сад. Минуешь его ограду — и каменный город сразу остается далеко позади, словно за тысячу верст. Здесь зелень, тишина, прохлада, четкие желтые дорожки среди пышных лужаек и рощ. Сквозь листву кленов, берез и дубов сверкают на солнце стеклянные стены оранжерей. Запрокидываешь голову, чтобы разглядеть далекую вершину пальмы, а потом осторожно опускаешься на корточки: маленький кактус лезет из земли, крошечный, как мизинец ребенка. А вот и мичуринский участок: цветы важно покачивают головами, наряженными в бумажные колпачки. Какие диковины вырастут здесь через несколько лет? Ветер, принюхавшись к смутным, смешанным странным запахам, перебирает зеленые стебли цветов и ветви деревьев и вместе с ветвями колышутся легкие, быстрые тени. Здесь, в этом саду на Аптекарском острове, волею науки и искусства живут цветы и деревья, прибывшие из разных районов мира: вишня Китая, жимолость Японии, бархатное дерево Дальнего Востока, белая береза России, гречиха из Сахалина, чубушник из Канады, сирень с берегов Амура, лиственница из Даурии и казанлыкская болгарская роза... За годы советской власти Ботанический институт Академии наук приобрел

рел мировую славу. Славится он не только своими редкостными экземплярами живых растений, бережно взлелеянных в оранжереях и в парке, но и гербарием — 5 тысяч листов! — и библиотекой — 100 тысяч томов специальных книг! Ботанический институт Академии наук, весь этот гигантский музей живых и засушенных растений, занимающий площадь в 13 гектаров, со всеми своими отделами — парком, гербарием, оранжереями, библиотекой — служит великолепно оборудованной лабораторией для ученых, изучающих многообразный растительный покров республик Советского Союза и зарубежных стран.

Старые деревья Ботанического сада в Ленинграде — сверстники, почти однолетки декабрьского восстания. Если бы у них была память, они помнили бы пушечные выстрелы, доносившиеся из-за реки 14 декабря 1825 года. Сад заложен был в 1823 году. Когда решено было на территории бывшего «аптекарского огорода» (по которому и остров издавна именовался Аптекарским) учредить настоящий ботанический сад, выбор для исполнения замысла пал на известного московского ботаника Фишера, который долгие годы состоял директором одного из самых замечательных садов Европы — великолепного сада графа Разумовского в селе Горенках под Москвой. Получив назначение в Петербург, Фишер деятельно принялся за работу. Средства на новое учреждение отпущены были крупные. По настоянию Фишера петербургский Ботанический сад после смерти графа Разумовского приобрел у его наследников все наиболее ценное из сокровищ Горенского сада: гербарий Палласа, многотомную библиотеку, коллекции сухих и свежих растений. Таким образом, сад под Москвой, окончивший со смертью Разумовского свое существование, стал отцом Ботанического сада в Петербурге. Фишер на посту директора действовал энергично и умело. В первые же годы сооружены были новые оранжереи, в первые же десятилетия собраны огромные коллекции в Бразилии, Вальпараизо, на Сандвичевых островах, на Тити. Были предприняты путешествия для исследования растительности Кавказа и берегов Каспийского моря, а в тридцатых годах — экспедиция в юго-восточную Сибирь, на берега Амура, Ангары и Байкала, совершенная замечательным русским ботаником Н. С. Турчаниновым.

Известно, что Фишер, еще в бытность свою директором сада в Горенках, усиленно интересовался флорой Сибири.

Горенский сад, главным образом благодаря гербарию Палласа, располагал такой коллекцией сибирских растений, какой не было ни в одном из ботанических садов мира. Но как ни велика была эта коллекция, для полноты представления о флоре разных районов Сибири она была недостаточна. Исполняя научные поручения Фишера и Разумовского, д-р Гельм путешествовал в оренбургских степях, на Урале, в Даурии. Фишер (совместно с ботаником-систематиком Майером) описал множество новых видов цветковых растений Сибири. По распоряжению Фишера Ботаническим садом был приобретен гербарий сибирской флоры, заключающий тысячу видов, у ветеринарного врача В. В. Гаупта.

Во всех статьях старых энциклопедических словарей, во всех очерках, посвященных истории Ленинградского Ботанического сада, мы встретим имена не только Фишера и его сотрудников, но и каждого, самого скромного ботаника-любителя, хоть чем-нибудь обогатившего сад. Но ни в одном из справочных изданий ни крупным, ни мелким шрифтом не обозначены имена декабристов, долгие годы посылавших образцы сибирской флоры в распоряжение петербургских ученых.

Между тем мемуары и письма сибирских изгнанников в своей опубликованной и неопубликованной части хранят следы систематических наблюдений над флорой Забайкалья — наблюдений, которыми узники постоянно делились с центральным ботаническим учреждением России — садом на Аптекарском острове. Из переписки декабристов явствует, что постоянно обменивались письмами с директором Ботанического сада Поджио, Волконский, Борисовы, Шаховской. Те небольшие, отрывочные части переписки, которые дошли до наших дней, дают основание думать, что Ботанический сад в лице декабристов имел высокообразованных научных корреспондентов.

В Центральном архиве Восточной Сибири хранится письмо декабриста Федора Петровича Шаховского, адресованное Фишеру, но не доставленное по адресу.

«Я предлагаю вниманию г-на Фишера первые плоды моих трудов», — пишет в этом письме Шаховской. Из письма, помеченного маем 1827 года, ясно, что оно не единственное, что князь Шаховской, оказавшийся в сентябре 1826 года на поселении в Туруханском крае, занялся изучением флоры и посылал отдельные экземпляры в Ботанический сад, в Петербург. Повидимому, наблюдения



Федор Петрович Шаховской. С миниатюры неизвестного художника.  
1820—1821 гг.

Шаховского в малоизученном крае представляли для Ботанического сада большой интерес: известно, что Фишер в ответ на посылки Шаховского отправил ему в далекий Енисейск микроскоп и научные книги по ботанике... Письмо Шаховского, не дошедшее до Фишера сквозь рогатки Третьего отделения и сохранившееся в архиве Восточной Сибири, представляет собою статью, написанную в форме дневника, посвященную описанию мхов, лишайников, папоротников, плесневых грибков и водорослей, произрастающих близ Туруханска. Как видно из статьи-дневника, Шаховской не только наблюдал эти растения на воле, определяя их формы, но занимался и специальным разведением папоротников и мхов, чтобы проследить все стадии их развития. Вглядываясь в природу и климат севера, Шаховской хотя и с большою робостью, но все же решается делать из своих наблюдений выводы, и мысль его идет по правильному пути: он устанавливает зависимость растительных форм от специфических особенностей климата. «Здесь ивы не достигают обычно свойственной им высоты и диаметра, — сообщает он Фишеру, — редко встречаются экземпляры от 20 до 40 футов высоты... Все остальные растения этого семейства превращаются здесь в кустарники, как, например, *Salix alba* (ива, белый таловник), *Salix cargea* (верба, красный таловник), *Pentandra* (ветла, черный таловник)». В этих строках, несомненно, речь идет о приспособлении растений к внешней среде, как сказали бы мы теперь.

Но непродолжительной оказалась научная деятельность Шаховского в Туруханском крае. Этого корреспондента Ботанический сад лишился быстро. Зброшенный в глухой поселок, в дикий край, где зима длилась шесть месяцев, где от морозов захватывало дух, а бураны сбивали с ног, измученный разлукой с родными и запрещением переписываться, раздраженный придирками чиновников, которые не стеснялись делать ему выговоры за то, что однажды в церкви он осмелился стать впереди самого окружного начальника, а в другой раз непочтительно на него поглядел, — Федор Петрович Шаховской в 1828 году «впал в сумасшествие» и под воинским караулом помещен был в больницу для умалишенных.

С прочими изгнанниками-учеными жандармы расправлялись столь же круто, но не всегда с такой же быстротой. Некоторым удавалось работать десятки лет. Одними из



Таяние снегов в Туруханске. Акварель Е. Карнеева (?).  
(Первая четверть XIX века).

*Государственный исторический музей. Москва*

самых замечательных исследователей сибирской флоры и фауны среди декабристов были братья Андрей и Петр Иванович Борисовы.

В 1841 году Петр Иванович Борисов в письме к Сергею Григорьевичу Волконскому упоминает о постоянной переписке «Академии» декабристов на Петровском заводе с Ботаническим садом в Петербурге, о тех ботанических подарках, которые посылались узниками каземата из Петровского завода Фишеру в Петербург.

Добродушно посмеиваясь сам над собой, Борисов упоминает одну свою случайную ошибку, сделанную при определении вида растения. Но если в Ботаническом саду эта ошибка и была обнаружена, то вряд ли у кого-нибудь хватило духу засмеяться. Судьба декабристов братьев Борисовых — один из них был талантливым живописцем и оба — образованными ботаниками, орнитологами и инсектологами — такова, что вызывает уважение и горечь, а не смех. Среди тяжких судеб русских ученых, в частности декабристов, их судьба, судьба их научных трудов — одна из самых трагических.

Братья Борисовы, отнесенные ко второму разряду «государственных преступников», приговорены были к смертной казни, а после смягчения приговора — к вечной каторге, ограниченной впоследствии пятнадцатью годами. Первая партия декабристов, отправленных после приговора в Сибирь, — Волконский, Оболенский, Якубович, Давыдов, Трубецкой, Артамон Муравьев, братья Борисовы — около года до водворения в Читу провела неподалеку от Нерчинска, в руднике Благодатском. Одиннадцать месяцев в Благодатске были нестерпимо тягостны: в мемуарах и письмах декабристов, в письмах жен, следовавших за мужьями в Сибирь, о месяцах, проведенных в Благодатске, неизменно рассказывается как о поре, самой страшной для узников.

Если бы их не перевели в Читу, а потом на Петровский завод, где, собранные вместе, декабристы добились постепенно более мягкого режима, если бы их оставили в Благодатске, никто из первых восьмерых каторжан не прожил бы более двух-трех лет. Ведь они, по определению управляющего горной конторой, «ремесла никакого за собой не имели, кроме Российского языка и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания» — поставлены же были под землей на самую тяжелую работу. Там все они заболели один за другим и больными выбивали руду под землей, в дурно укрепленных, грозящих обвалами, узких, сырых и темных шахтах; там, на поверхности земли, на горе, они таскали носилки с рудой — по 5 пудов на каждого, а каждый был закован в кандалы; там они жили в вонючих чуланах, где стен и пола не видно было из-за насекомых; там в ответ на бесчеловечие и грубость начальства им пришлось объявить голодовку, которая едва не была приравнена к новому бунту.

И там, в этой смрадной тюрьме, во время редких прогулок, совершаемых в цепях по берегу Аргуни, братья Борисовы первыми из всех декабристов приступили к научной работе, которую не прекращали все долгие годы своей ссылки в Сибирь. Край в отношении фауны и флоры был в конце двадцатых годов действительно еще мало изученным: деятельность знаменитого русского ботаника, исследователя Сибири, Н. С. Турчанинова, только еще началась, его классический труд о прибайкальско-даурской флоре был еще впереди, а труды Палласа, совершившего



Петр Иванович Борисов. Акварель Н. Бестужева.

*Собрание И. С. Зильберштейна, Москва*



путешествие по Сибири в конце XVIII века и собиравшего растения, были уже недостаточны.

«Братья Борисовы, — сообщает Мария Волконская, — страстные естествоиспытатели, собирали травы и составили коллекцию насекомых и бабочек». Это в кандалах, после работы под землей, в редкие часы прогулок и отдыха! Но сырость шахты и грубость начальства быстро делали свое дело. В официальных ведомостях Благодатского рудника 27 февраля 1827 года появилась короткая пометка: «Андрей Борисов страдает помешательством в уме».

Русская наука свято чтит память своих героев и мучеников: память Миклухо-Маклая, который в тяжелом жару тропической лихорадки поднимался на вершины новогвинейских хребтов; память Седова, который неуклонно стремился к полюсу, одолевая не только льды, но и смертельную болезнь. Братья Борисовы сделали для науки далеко не так много, но не оттого, что им нехватило мужества или воли. Сделали они для науки все, что могли в тех условиях, в которые были поставлены: нет, гораздо больше, чем могли — и в этой безмерной преданности своему делу их сходство с великими людьми русской науки и их право на память потомства. Обязанность историка по клочкам, по жалким остаткам восстановить сделанное ими.

Перед нами два кожаных черных альбома с золотой надписью на каждом: «птички». Они хранятся в Москве у внучек иркутского купца Василия Николаевича Баснина, собравшего замечательную библиотеку, великолепную коллекцию гравюр и гербарий. Василий Николаевич был человек образованный, и в сороковых-пятидесятых годах прошлого столетия дом его охотно посещали декабристы — Бестужевы, Борисовы, Артамон Муравьев. Тогда-то, как видно, и были приобретены Басниным альбомы Борисовых.

Каждой акварели предшествует плотная папиросная бумага. На бумаге надписи по-русски и по латыни: «лесничка, или лесной королек», «снегирь», «пеночка», «короткохвостый сорокопуд». Поднимаешь бумагу, будто отдергиваешь занавес — и оттуда глядят на тебя портреты сибирских птиц. Каждый новый портрет кажется еще ярче, еще точнее и выразительнее предыдущего. Работа виртуозна по точности и тонкости исполнения, в первую минуту не верится, что это сделано кистью. Необыкновенно искусно переданы все оттенки расцветки — зеленовато-оливковое,

желтовато-зеленое оперение пеночки; сероголубая спинка, черная шапочка и красная грудь снегиря; желтовато-оранжевый хохолок короляка — и самая фактура оперения — ее нежная шелковистость. Каждая птица сидит на ветке того дерева, где можно встретить ее чаще всего. Она сидит, повернув голову или вздернув хвост, или нацелившись клювом на муху в той трудно уловимой и с чрезвычайной точностью воспроизведенной позе, которая свойственна именно данному виду птиц. Потому-то эти акварели невольно называешь портретами. Как портрет человека, исполненный мастером, воссоздает не только цвет его волос или глаз, но и его характер, так и акварели Борисова с непревзойденной точностью воссоздают не только окраску оперения, выгиб клюва, величину когтей, но и самую повадку птицы. Схематичными, сухими, бледными кажутся рядом с этими произведениями науки и искусства рисунки прославленных альбомов и атласов.

Декабрист Фролов сообщает, что в казематах Петр Иванович занимался научной работой не менее шестнадцати часов в сутки. Камеры братьев Борисовых на Петровском заводе, по свидетельству их товарищей, были настоящим музеем: начав собирать насекомых, засушивать травы и цветы еще в Благодатске, зарисовывать птиц, набивать их чучела еще в Чите, братья Борисовы сильно пополнили свои коллекции по дороге из Читы на Петровский. Здесь, на Петровском, их камеры стали центром естественно-научного изучения края. Жены декабристов, заводские служители, дети несли Андрею Ивановичу и Петру Ивановичу свои находки. И именно отсюда, из Петровского завода, посылали Борисовы вместе с другими декабристами свои корреспонденции и гербарии в Петербург Фишеру, в Ботанический сад, а энтомологические коллекции — в Москву, повидимому, в «Московское общество испытателей природы».

Это были тихие, молчаливые, скромные люди, всякому готовые помочь и услужить. Преданность их друг другу не имела границ, и с каждым годом они становились все более похожи один на другого. Андрей Иванович не мог жить без Петра Ивановича, а Петр не мог часу провести без Андрея. Воспоминания товарищей и друзей рисуют Борисовых необыкновенно покорными, беззлобными, тихими. О покорности, кротости, тихости свидетельствуют, будто сговорившись, решительно все мемуаристы.

«Он был самого скромного и кроткого нрава, — вспоминает о Петре Ивановиче декабрист Якушкин. — Никто не слышал, чтобы он когда-нибудь возвысил голос... и с детским послушанием он исполнял требования кого бы то ни было»... Знаменитый врач-сибиряк Н. А. Белоголовый, который в отрочестве учился у Петра Ивановича, рассказывая о своем учителе, не устает с умилением удивляться его «непомерной безобидности» и кротости, его «незлобивости», его «любящей душе».

Однако эти кроткие люди были не только мучениками, но и героями; кроткие с товарищами по несчастью, с родными, с соседями, с детьми, «никогда не возвышающие голос», они умели возвысить его в защиту угнетенных, громко и непреклонно говорить с угнетателями. «Что за бойцы, что за характеры, что за лю д и!» — писал Герцен в одной из своих статей о декабристах, и его восторженное восклицание вполне приложимо к Борисовым. Ведь это Андрей Борисов отвечал на следствии судьям: «законы ваши не правы; твердость их находится в силе и предрассудках». Ведь это «послушный» Петр Борисов повторял накануне восстания товарищам: «Народ должен делать условия с похитителями власти не иначе, как с оружием в руках, купить свободу кровью и кровью утвердить ее»... Эти кроткие, тихие люди были стойкими революционерами, основателями самого демократического из тайных декабристских обществ.

В отличие от учредителей Северного и Южного обществ, в значительной своей части аристократов и богатей, братья Борисовы были безвестными бедняками, без денег, без поместий, без связей, офицерами одного из расквартированных на Украине армейских полков. И они вербовали в свое общество таких же обездоленных, какими были сами.

«Члены Общества соединенных славян представляют собою главным образом безземельное, «пролетаризированное» дворянство, жившее «с одного жалованья», — пишет проф. Нечкина в специальном исследовании, посвященном этому тайному обществу. — В мелком чиновнике, в беглом крестьянине, подделывавшем дворянский паспорт... в мелком шляхтиче... они чувствовали близкого человека, думавшего так же, как они».

В 1823 году братья Борисовы, прапорщики артиллерийской бригады, стоявшей в Новоград-Волынске, встретились

там и подружились с молодым образованным шляхтичем Юлианом Люблинским, высланным из Варшавы, и вместе с ним положили начало Обществу соединенных славян. «Мы все есть славяне и от одного племени происходим», — восторженно твердил Люблинский. Друзья целыми ночами толковали о будущем, когда славянские народы, свергнув иго иноземцев, покончив с самодержавием, соединятся в счастливую свободную семью. Целью общества было уничтожение монархии и создание федерации освобожденных славянских народов. Средством почиталась глубокая, тайная, рассчитанная на долгие годы пропаганда среди офицеров, солдат и крестьян. «В народе искали они (славяне) помощи, без которой всякое изменение непрочно», — писал об Обществе соединенных славян один из его ревностных членов, Горбачевский. Но события надвигались быстро, деятельность Общества не могла состоять из одной пропаганды. Летом 1825 года во время маневров под местечком Лещины Общество соединенных славян по воле большинства его членов слилось с Южным обществом. Руководили «южанами» Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин; членами его были офицеры с большими придворными и военными связями; рассчитывали «южане» не на медленную пропаганду в народе, а на быстрый военный переворот. Братья Борисовы были против слияния двух обществ, но когда в ответ на события в Петербурге 29 декабря 1825 года в деревне Трилеса, в пятидесяти верстах от Василькова, вспыхнуло восстание Черниговского полка, руководимое Муравьевым, Борисовы, находившиеся со своей бригадой в Новоград-Волыньске, честно исполнили революционный долг. Они употребили все свои силы, чтобы расширить восстание, поднять войска и итти на помощь Черниговскому полку, ожидавшему подкреплений.

— Мы должны погибнуть, — говорил брату кроткий Андрей Борисов, — нашему выбору предоставляется или смерть, или заточение. Мне кажется, лучше умереть с оружием в руках, нежели жить целую жизнь в оковах...

Петр соглашался с братом. Нельзя было терять ни минуты. Они сделали все, чтобы умереть с оружием в руках, но их ждали оковы. Они разъезжали от роты к роте, рассылая во все концы горячие призывы к восстанию. Они намеревались, собрав роты, разбросанные вокруг Новоград-Волыньска, и захватив артиллерию, итти на Житомир, а оттуда на Киев, на Бобруйск, на Москву...

А там — там свержение монархии и великая федерация братских славянских народов. «Целию сего общества, — пояснял впоследствии в своих показаниях Петр Борисов, — есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не токмо сан монарха, но и дворянское достоинство и все сословия, и сливающей их в одно сословие — гражданское». Но скоро из Василькова, из Белой Церкви поползли страшные слухи о разгроме восставшего полка, об аресте Муравьева и Бестужева-Рюмина. Слухи росли: тот арестован, тот застрелился, тот бежал, но по дороге схвачен. Вскоре следствие дозналось о существовании «Общества соединенных славян» и братья Борисовы были арестованы и отправлены в Петербург, в крепость. В феврале 1826 года Следственный комитет уже отмечал в своих протоколах «чрезвычайное упорство и закоснелость Петра Борисова» и просил у царя разрешения заковать его. Царь милостиво разрешил...

Как и для многих декабристов, как ранее для деятелей французской буржуазной революции, а позже для Герцена, любимым чтением братьев Борисовых в юности были «Сравнительные жизнеописания славных мужей» Плутарха. Со страниц этой книги смотрели на русских революционеро-дворян герои Греции и Рима — Брут, защитник римской вольности от посягательств самовластья, Гракхи, непреклонные слуги народа, Цицерон, Ликург, Демосфен — те, кого греческий писатель представил образцами гражданской доблести и героического патриотизма. Знаменитые ораторы и воины, доблестные граждане древних республик для многих декабристов стали близкими живыми людьми, чьи имена прочно вошли в обиход. Недаром оды и послания Рылеева, зовущие к бою, обличающие тиранов, пестрят именами Брута, Катона, Кассия.

Тиран! вострепещи! Родится может он  
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей, Катон! —

восклидал Рылеев в послании «К временщику», под которым, как все понимали, надо было разуть Аракчеева... Недаром Петр Борисов в юности в письмах к друзьям подписывался именем древнего греческого философа-изгнанника, Протагора, а один из его товарищей — именем доблестного «врага царей», Катона... На следствии братья Борисовы не посрамили своих любимых героев. Братья Гракхи могли бы позавидовать их преданности друг

другу и их гражданскому мужеству. На допросах Борисовы не назвали ни одного из своих товарищей по тайному обществу и каждый из них брал все вины и преступления на себя, стараясь выгородить брата.

«Против показаний брата моего, отставного подпоручика Борисова первого, — заявил на следствии Петр Борисов — я должен сделать нижеследующие возражения. Он делает себя более виновным, нежели есть в самом деле, единственно для того, чтобы смягчить заслуженное мною наказание, обратив часть оногo на себя самого». За этим заявлением следовал целый перечень проступков, наиболее предосудительных в глазах начальства.

...В 1839 году, закончив сроки каторжных работ, братья Борисовы переведены были на поселение в село Подлопаточное. Тут ждало их новое горе — единственное, которое в силах было сломить их. Припадки уныния и подавленности участились у Андрея Ивановича и, хотя они не представляли никакой опасности для окружающих, генерал-губернатор, считая их признаками «помешательства в уме», приказал поместить Андрея Ивановича в лечебницу для умалишенных. Напрасно Петр Иванович в слезном письме объяснял губернатору, что разлука убьет Андрея, что они «необходимы один для другого», напрасно молил, как милости, чтобы и его заперли вместе с братом в сумасшедший дом. Не скоро губернатор внял его мольбам. Петр Иванович каждый день писал Андрею Ивановичу горестные письма, уговаривая его не терять надежды на свидание и подписываясь: «твой до гроба Петр Борисов». Наконец, несчастного Андрея, выпустили из дома умалишенных и обоих братьев поселили в селе Малое Разводное под Иркутском, неподалеку от старых товарищей — Сергея Волконского и Артамона Муравьева. В крошечном домике, окруженном заваленным снегом двором, потекла трудовая, одинокая, полуголодная жизнь. Денег никто им не мог посылать из России: напротив, они сами еще должны были посылать на пропитание единственной оставшейся в живых сестре. Петр Иванович за небольшую плату давал уроки детям; Андрей Иванович окантовывал гравюры, переплетал книги, исполнял мелкие заказы, доставляемые ему товарищами-декабристами или В. Н. Басниным. Попрежнему оба брата занимались естественными науками, приводя в порядок, классифицируя и сортируя коллекции, привезенные из Петровского завода, изучая птиц, растительность, насекомых

Прибайкалья. На подоконниках грудями один на другом лежали альбомы с искусными портретами птиц и цветов; на полках, издавая нежный запах сухой травы, покоились папки гербария; с высоких подставок, широко расставив крылья, смотрели на стареющих братьев стеклянными, неподвижными глазами набитые соломой птицы. Казалось, они сторожат тишину, поселившуюся вместе с братьями в маленьком домике: больной Андрей не выносил шума, не выносил человеческих голосов, не желал видеть никого, кроме брата. Стоило кому-нибудь невзначай показаться в дверях, и Андрей со стоном убежал к себе в комнату. С годами братья становились все более похожи один на другого и в то же время чем-то неуловимым на больших грустных птиц, глядевших с подставок остановившимися стеклянными глазами. Петр Иванович с маленьким личиком, изрезанным морщинами, в потертом халате сухими пальцами писал акварелью цветы. Он сидел с утра у окошка, не разгибая спины, и к сумеркам на бумаге расцветали яркие орхидеи, причудливые «венерины-башмачки»... Андрей Иванович с таким же маленьким личиком, в таком же потертом халате сухими пальцами накалывал на булавки бабочек. Ничто не нарушало тишины. Тяжело вздыхал Андрей Иванович; Петр Иванович на цыпочках, чтобы не обеспокоить брата, выходил подышать на крыльцо. Пыльные лопухи летом и глубокие снега зимой встречали его во дворе.

На мертвый двор редко приходили вести из широкого мира. А если бы они приходили — тяжелее или легче было бы обитателям тихого домика? Декабрист Завалишин сообщает о важном научном открытии Андрея Ивановича: оказывается, в Сибири он не только «собрал замечательную коллекцию насекомых», но и «придумал сам новую классификацию, совершенно тождественную с тою, которая гораздо спустя уже была предложена Парижской академии и принята ею». Знали ли об этом событии братья Борисовы, и радостью было оно для них или горем? Петр Иванович, по словам того же мемуариста, «нарисовал акварелью виды всех растений даурской флоры и изображение почти всех пород птиц Забайкальского края». Гербарии братья посылали в Петербург Фишеру, в Ботанический сад; энтомологическую коллекцию, по свидетельству одного из их товарищей, Басаргина — в Москву, специалистам-зоологам. Но лестные толки, которые эта работа возбудила в Москве, не доходили по милости Третьего отделения до тихого домика

в Малой Разводной. Здесь неслышно вздыхал Андрей Иванович, молчали птицы, молча горбился у окна Петр Иванович.

Один из товарищей-декабристов выхлопотал для Петра Борисова заказ: описать сибирских муравьев и скорпионов. Темнело, и Петр Иванович все ближе придвигал бумагу к окну. Снег, заваливший окно, слабо освещал стол и бумагу. «По свидетельству французских путешественников... на берегах Амура встречаются три рода скорпионов разных цветов, — писал Борисов, — серые, зеленые и красные. Я не думаю, чтобы это было справедливо».

Работа Борисова о муравьях не была напечатана, так и осталась в рукописи; в литературе имеются случайные сбивчивые известия, будто рисунки Петра Ивановича были куплены за бесценок приезжим чиновником, награвированы на стали в Лондоне и опубликованы без имени автора в каком-то альбоме в Петербурге. «Желаю сохранить труды, относящиеся единственно к науке», — писал Сергей Волконский Ивану Пущину из Иркутска в Ялуторовск 1 октября 1854 года под свежим впечатлением от внезапной смерти обоих Борисовых. Старый декабрист много сделал для своих товарищей, но сохранить их научные труды ему не удалось.

Громкий крик нарушил в одно холодное утро тишину маленького домика. Войдя в комнату брата, Андрей Иванович нашел Петра Ивановича мертвым. Петр скончался от удара во сне. В припадке умоисступления Андрей попытался было сначала поджечь дом, а потом сделал из веревки петлю и повесился. Можно ли назвать этот страшный конец естественной смертью одного брата и самоубийством другого? Нет, гибель братьев Борисовых — это медленное убийство, совершенное Николаем I и Третьим отделением.

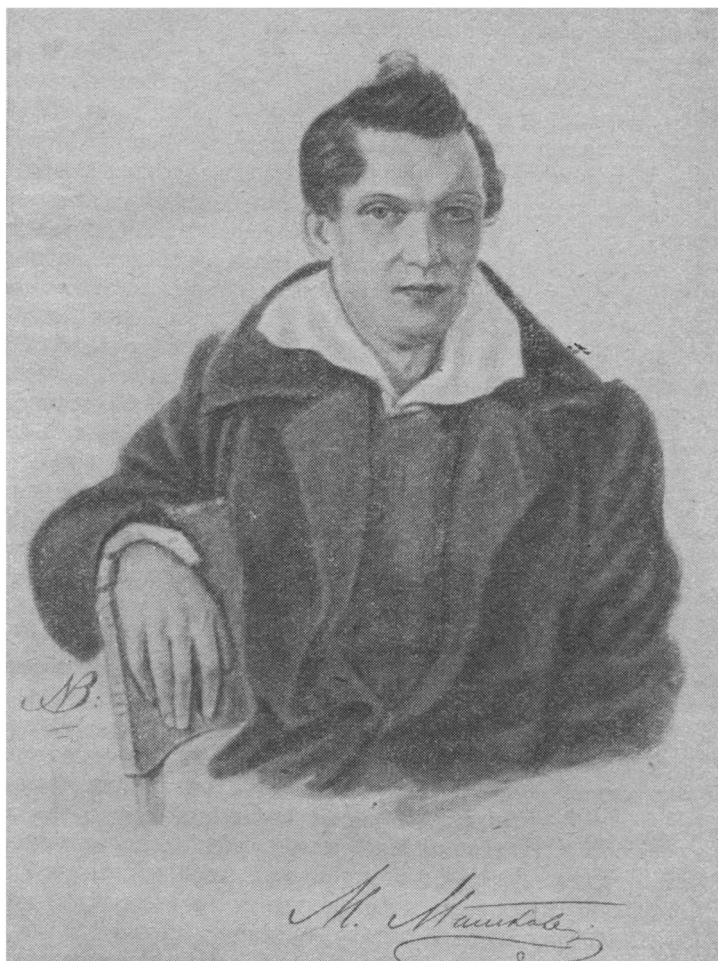
Соседи, подоспевшие слишком поздно, известили о несчастье Сергея Волконского. «Два брата опущены в одну могилу, — писал Волконский Пущину после похорон, — и прах их будет неразделен, как вся жизнь их с детства, в гражданском быту и в тюрьме, и в ссылке».

Что случилось с бумагами Борисовых? Что случилось с их научными трудами? Работа о муравьях хранится в Историческом музее в Москве, два орнитологических альбома — у внучек В. Н. Баснина. Но ведь это — ничтожные остатки того, что сделали для изучения Сибири братья Борисовы. Где ценные коллекции насекомых Забайкалья, отправленные некогда из Петровского завода в Москву? Какие экземпляры



забайкальских растений, хранящиеся, быть может, и теперь в гербарии Ботанического института в Ленинграде, были посланы когда-то директору Фишеру учеными, законными в кандалы? Внук декабриста Сергея Волконского указывал, будто несколько альбомов Борисова долгие годы хранились в личной библиотеке царя Николая II. Но вряд ли это указание правильно, да и что случилось с альбомами дальше?..

И только одно старое издание, один толстый фолиант украшен фамилией Борисовых, храня и по сей день след их научной работы. Странно: это не сочинение о муравьях или травах, не портреты цветов или птиц. Это — климатологический атлас, выпущенный директором Главной физической обсерватории Вильдом в 1881 году. Оказывается, в Сибири Борисовы занимались не только фауной и флорой, хотя об их метеорологических наблюдениях нет упоминаний ни в мемуарах, ни в письмах. Г. Вильд, директор Главной физической обсерватории в Петербурге, был широко известен своими научными трудами по метеорологии и своей нелюбовью ко всему русскому. Заведуя с 1868 года одним из крупнейших научных учреждений России, Вильд требовал, чтобы в лабораториях и залах Главной физической обсерватории говорили исключительно по-немецки, чтобы и труды по метеорологии печатались только на немецком языке. Результаты своих научных изысканий он тоже публиковал по-немецки, основываясь в них, однако, на тех данных, которые собраны были трудами русских наблюдателей. Искаженными, обезображенными выглядят фамилии русских людей и названия городов, напечатанные на страницах толстого тома немецкими буквами. «Tschita» — Чита — напечатано на 320-й странице атласа, составленного Вильдом. «Herr Borissow» — г-н Борисов, сосланный за политические преступления, производил в Чите с октября 1827 года до июля 1830 года (и позднее в Петровском) метеорологические наблюдения. Результаты этих наблюдений, которые до сих пор не были опубликованы, хранятся в архиве Главной обсерватории». Таким образом, метеорологические наблюдения братьев Борисовых (или одного из них) в Чите и на Петровском заводе, одолевавшие преграды начальства, оказались в распоряжении ученых Главной физической обсерватории и помогли климатологам определить для Сибири «ежемесячные средние температуры, приведенные к многолетним средним и к уровню моря», которые через двадцать семь



Михаил Фотиевич Митьков. Акварель Н. Бестужева.

*Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

лет после смерти Борисовых опубликовал Вильд в своем атласе. И Борисовы, не единственные из декабристов, вложили свой труд в дело изучения климата Сибири. Декабрист Митьков, поселенный в 1836 году, после отбытия каторги в Красноярске, в течение девяти лет — с 1838 по 1847 — вел тщательные метеорологические записи. Вскоре по приезде в Красноярск он начал отмечать температуру, осадки, облачность, давление и ветры. Наблюдения Митькова впоследствии вошли в тот же атлас Вильда, что и наблюдения Борисовых. Но еще значительно раньше, чем их использовал Вильд, им сильно посчастливилось: напечатанные в 1864 году в «Своде наблюдений, произведенных в Главной физической обсерватории и подчиненных ей обсерваториях», они оказались в поле зрения великого русского ученого, основателя русской климатологии, А. И. Воейкова, и в 1871 году он воспользовался ими для составления таблицы средних температур в Сибири и Восточной Азии.

Тридцатые и сороковые годы прошлого века, когда декабристы, оказавшись в изгнании, начали собирать материал для исследования климатических особенностей разных районов Сибири — одни в Чите и на Петровском, другие в Селенгинске, третьи в Красноярске, в Вилюйске, в Ялуторовске, — были годами повышенного интереса русских ученых к проблемам климатологии. Это был канун создания первого центрального государственного метеорологического учреждения в мире — Главной физической обсерватории. Первым, кто, как известно, указал на ту огромную роль, какую может сыграть метеорология в земледелии и мореплавании, был великий русский ученый Ломоносов. В Сибири еще в тридцатых годах XVIII века была организована Северной экспедицией Беринга целая сеть метеорологических станций. Велись метеорологические наблюдения и во многих странах Европы. Но велись они без общего плана и потому без больших научных результатов. Ломоносов ратовал за организацию большой, разветвленной по всем странам мира, сети однородно устроенных, ведущих точные и согласованные наблюдения метеорологических станций. «Предсказания погоды... от истинной теории о движении жидких тел около земного шара, то есть воды и воздуха, ожидать должно», — говорил он. Он настаивал на том, что наука, земледелие и мореплавание сильно выиграли бы, «когда бы в различных частях света в крупных государствах... учредили бы самопишущие метеорологические обсерватории, к коим располо-

жению и учреждению с разными новыми инструментами имею новую идею».

Но требовательный голос Ломоносова прозвучал слишком рано и в XVIII веке не был услышан. Только 1 апреля 1849 года идея Ломоносова, подхваченная академиком А. Купфером — физиком, химиком, философом, минералогом, привела к созданию первой физической обсерватории в мире, — учрежденной «для производства физических наблюдений... и для исследования России в физическом отношении» — Главной физической обсерватории при Институте Корпуса гражданских инженеров в Петербурге. «Вот Россия основала без всякого шума Главную физическую обсерваторию, имеющую огромное значение, — с завистью писала французская газета «Век». — Ничего подобного нет до сих пор нигде в Европе».

Декабристы — образованнейшие люди своего времени — не могли не знать об идеях Ломоносова, о настойчивых предложениях Купфера. Купфер был сверстником большинства из них и в начале двадцатых годов в Петербурге с большим успехом читал публичные лекции о погоде, пытаясь объяснить ее «прихоти» общими законами физики. Оказавшись после катастрофы 14 декабря в Сибири, стране, тогда еще столь мало изученной, в этой, по выражению академика Миддендорфа, «стране чудес», чьи «самые мелкие особенности обусловлены климатом», декабристы, сосланные на каторгу и на поселение, почувствовали себя как бы некоей ученой экспедицией, призванной всесторонне исследовать бескрайние просторы Сибири.

«У сибиряков почти везде под руками материал, которого давно ждут знатоки дела..., — писал академик Миддендорф. — Цену здешним наблюдениям придает самая местность». И вот, повинувшись никем не названному полномочию, с глубоким чувством ответственности перед родной страной декабристы на каторге и в ссылке начинают собирать материал, которого «ждут знатоки дела»: Шаховской исследует мхи и водоросли Туруханского края, Борисовы — насекомых, птиц, растения Забайкалья, Александр Бестужев — песни и сказки якутов, Николай — экономику, быт и народное творчество бурят, Митьков, Борисовы, Якушкин, Муравьев-Апостол, Беляевы, Якубович и тот же Николай Бестужев — климат. В сущности, это естественное продолжение той работы, какую до 14 декабря вели будущие декабристы; работы по изучению природных богатств нашей

Родины, ее производственных возможностей, ее торговых путей, военного могущества, истории. Вспомним деятельность Батенькова и Штейнгеля, Чижова, Торсона, Николая Бестужева. После катастрофы 14 декабря силы их оказались поневоле сосредоточенными не на изучении всей страны, а лишь одной ее части — Сибири. Узники приняли на себя почетные обязанности сибирских корреспондентов журналов и научных институтов России: «Горного Журнала», «Московского общества испытателей природы», Ботанического сада, созданного в Петербурге в 1823 году, Главной физической обсерватории, открывшейся только в 1849-м, но готовившейся к открытию значительно раньше. И мало этого: обязанности деятельных участников всех научных изысканий, предпринимавшихся в ту пору в Сибири русскими и иностранными учеными.

В самом деле, не было буквально ни одной экспедиции, посетившей Сибирь в те годы, когда там на поселении жили декабристы, в которой изгнанники, вопреки воле начальства, не приняли бы посильного участия. Декабристы помогали им всем: и А. Ф. Миддендорфу, исследовавшему в начале сороковых годов север и восток Сибири; и астроному Федорову, командированному Пулковской обсерваторией в Сибирь для астрономического определения сибирских городов; и Гумбольдту, совершившему в 1829 году по приглашению русского правительства путешествие по Сибири — через Средний Урал на Алтай вплоть до китайской границы; и Эрману, который приехал в Сибирь с целью изучения земного магнетизма под различными долготами и широтами; и лейтенанту Дуэ, обследовавшему берега Лены; и Лессингу, который посетил Саянские горы для барометрических измерений и для исследований растительности. Все они оставили сочинения о своих путешествиях, занимающие иногда несколько томов, и хотя декабристы щедро делились с ними своими познаниями о крае, — прямые ссылки на этот источник мы найдем далеко не везде. И это совершенно понятно. Всякое упоминание имени декабристов, даже по чисто научному поводу, могло сделать еще более тяжелой и без того нелегкую судьбу изгнанников. Вспомним, какие неприятности постигли Чижова, когда в «Московском наблюдателе» оказались напечатанными его стихи...

Характерная история произошла с Семеновым и Гумбольдтом. Когда в августе 1829 года, совершая свое путешествие по Сибири, в Омскую область прибыл Гум-



Восход солнца в окрестностях Енисея. Акварель Е. Карнеева (?).  
(Первая четверть XIX века).

*Государственный исторический музей. Москва*

больдт — генерал Сен Лоран, управляющий областью, желая угодить знаменитости, прикомандировал к Гумбольдту Степана Михайловича Семенова, ссыльного декабриста, отправленного в Омскую область на службу. Сен Лоран справедливо полагал, что Семенов, человек широко образованный и хорошо знающий край, может быть экспедиции чрезвычайно полезен. Гумбольдт с благодарностью принял совет управляющего и предложил Семенову сопутствовать экспедиции в осматре достопримечательностей области. Из путевого журнала чиновника горного ведомства Меньшенина, прикомандированного к Гумбольдту, мы узнаем, что интересовало экспедицию и кого опрашивали ее члены по дороге из Усть-Каменногогорска в Омск. Они осматривали крутые берега Иртыша, изверженный гранит, лежащий на глинистом сланце, поражаясь «грозным и картинным утесам»; «беседовали, — сообщает Меньшенин, — со старшинами племен кочующих и купцами Средней Азии о торговле, о положении некоторых азиатских городов и о пути караванов». В самом Омске они посетили суконную фабрику,

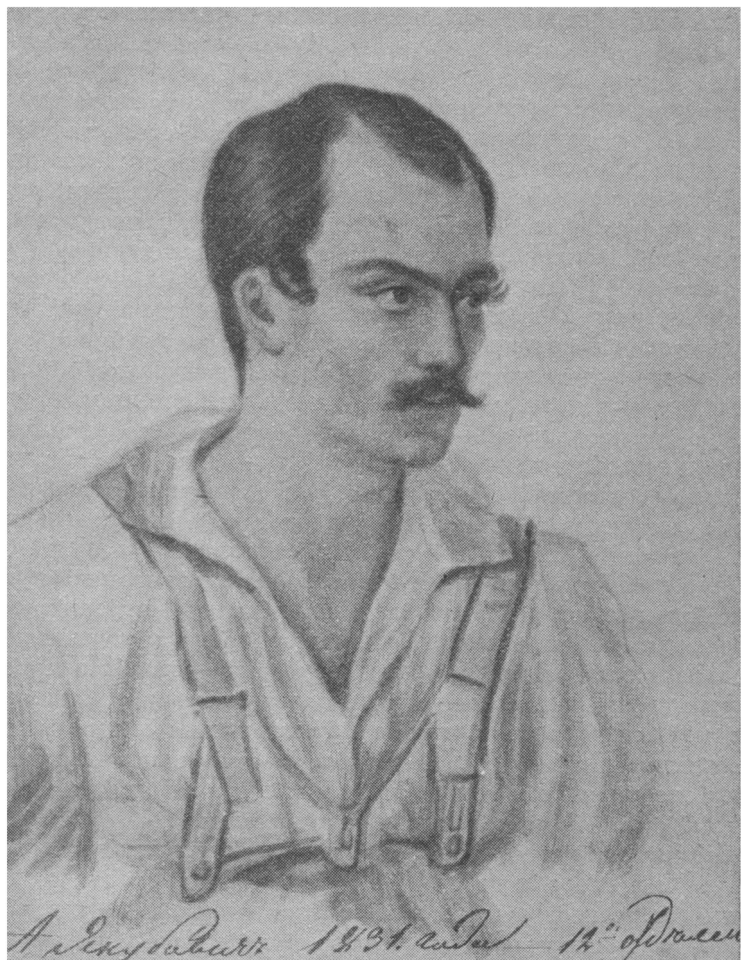
«войсковое казачье училище» и «азиатскую школу», где Гумбольдт «встречен был речами, говоренными воспитанниками на монгольском, маньчжурском и других языках».

Повидимому, Семенов давал ученому какие-то ценные объяснения по поводу виденного экспедицией, потому что когда осенью 1829 года, закончив свое путешествие и собираясь уезжать из России, Гумбольдт получил прощальную аудиенцию у царя, — он в беседе с Николаем I счел своим долгом в самых лестных выражениях упомянуть о Семёнове. Очень возможно, что при этом им руководило желание облегчить участь ссыльного.

Гумбольдт был искусным царедворцем, проведшим всю жизнь при королевском дворе. Но тут он совершил непростительный промах. Повидимому, титул «Августейший покровитель наук», который присвоил себе Николай I, всю жизнь удушавший науку, ввел путешественника в заблуждение. «Я был поражен и восхищен, ваше величество, — сказал Гумбольдт с многозначительной улыбкой, — встречая в самых отдаленных углах вашей необъятной империи истинно образованных людей». И на вопрос императора, наклонившего к нему свое глуховатое ухо, кого он имеет в виду, Гумбольдт, все так же приятно улыбаясь, назвал Семенова. Гумбольдту Николай I ничего не ответил, но на следующий день в Омск поскакал курьер с депешей, объявляющей высочайшее неудовольствие Сен-Лорану и приказ немедленно перевести Степана Михайловича Семенова обратно в Усть-Каменногорск канцелярским служителем... Небезопасно было для ссыльных декабристов принимать участие в ученых экспедициях!

В 1843 году академик Миддендорф, совершая на лошадях, на собаках, на оленях трудное путешествие на север от Красноярска вдоль скованного льдами Енисея, встретился в селе Назимове с сосланным декабристом Якубовичем.

По инструкции Академии наук, составленной для экспедиции Миддендорфа знаменитым антропологом, зоологом и географом, академиком Бэр, одной из главных задач экспедиции было изучение растительного и животного мира на Крайнем Севере. Таймырский край и прилегающая к нему местность вокруг северного течения Енисея, в том числе и те места, где между Енисейском и Туруханском был поселен Якубович, те места, где материк Азии одинаково отдален от влияния теплых океанов, Атлантиче-



Александр Иванович Якубович. Акварель Н. Бестужева.

Собрание И. С. Зильберштейна. Москва



ского и Тихого — представляли для изучения климата, животного и растительного мира особый интерес. Увидев в Якубовиче человека образованного и дельного, академик Миддендорф поручил ему производить барометрические и метеорологические наблюдения, собирать сведения о минералах, о золотоносных речках и составить статистическое описание волости. И что же? Узнав об этом предложении, сделанном ссыльному декабристу знаменитым ученым, генерал-губернатор Восточной Сибири поспешил дать гражданскому губернатору Енисейской губернии следующие указания:

«Якубович... может заняться этим не иначе, как под условием, что сочинения его по каким бы то ни было предметам не будут напечатаны и изданы в публику ни под каким собственным его именем, ни под псевдонимом, но что они будут сообщены г-ну Миддендорфу только как материал для собственного его употребления или для собственных его сочинений с тем, чтобы тот ни в каком случае не объявлял перед публикою, от кого получил их, и пользуясь ими, вовсе не упоминал бы имени Якубовича».

Миддендорф вынужден был в точности исполнить предписание генерал-губернатора и, получив от Якубовича материал, имени его нигде не упомянул, но зато он упомянул название того места, где жил Якубович — село Назимово, к северу от Енисейска — и есть основание считать, что, например, сведения о границах произрастания пшеницы, помещенные Миддендорфом в главе о земледелии, получены им с помощью ссыльного декабриста. Из официальной переписки о Якубовиче, которую продолжали вести генерал-губернатор и гражданский губернатор не только после отъезда Миддендорфа из Сибири, но даже после смерти Якубовича, скоропостижно скончавшегося от тифа в сентябре 1845 года, известно, что Якубович передал Миддендорфу «метеорологические наблюдения» и «сборник тамошней флоры», а также «штуфы пород золотоносных речек и ручьев»... Тут существенно упоминание о флоре: ведь экспедиции Миддендорфа, как мы видели, было поручено возможно полнее исследовать северную флору; кроме того, Миддендорф особенно интересовался историей и перспективами развития хлебопашества по Енисею. В IV томе его «Путешествия» целая статья посвящена зерновым культурам и в этой статье два раза сделана ссылка на Назимово, которую можно считать замаскированной ссылкой на Якубовича. Во всяком

случае в метеорологическом атласе Вильда, появившемся значительно позже, когда имена декабристов уже вышли из-под запрета, прямо и недвусмысленно указано, что ...метеорологические наблюдения в Назимове производились «образованным ссыльным», Якубовичем, совместно с Миддендорфом.

В конце двадцатых и на всем протяжении тридцатых годов проблемы земного магнетизма стояли в центре внимания европейской науки.

В Сибирь для астрономических и барометрических определений, для изучения земного магнетизма под различными долготами и широтами, приезжали и Федоров (по поручению Пулковской обсерватории), и Ганстен, и Дуэ, и Эрман, и Лессинг. И среди них не было ни одного, который в своих исследованиях не опирался бы на познания декабристов.

«Все, что приезжало в город из образованного класса людей... — вспоминает декабрист Беляев, поселенный вместе с братом в 1832 году в Минусинске, — ученые, командируемые с какой-нибудь ученою целью, все это группировалось около нас». Далее он рассказывает о деятельности астронома Федорова: повидимому, братья Беляевы принимали участие в его работах.

«Два года сряду, — сообщает в тех же воспоминаниях Беляев, — посещал Минусинск берлинец Лессинг... Он ездил в Саянские горы для барометрического измерения гор». При отъезде в Саянск Лессинг оставил братьям Беляевым свой измерительный прибор и поручил производить метеорологические наблюдения, «...что и исполнялось братом аккуратно, записывалось и потом передано Лессингу», — сообщает Беляев.

В течение нескольких дней, проведенных в Якутске Эрманом, немецкий ученый был неразлучен с Александром Бестужевым, и Бестужев помогал ему составлять метеорологические таблицы для сравнения высоты местностей. Декабрист Заикин, отличный математик, поселенный в Витиме на Лене, проверял астрономические исчисления, произведенные норвежским астрономом лейтенантом Дуэ; декабрист Андреев, сосланный в Олекминск, помогал Дуэ исследовать слюду на берегах Олекмы; Матвей Иванович Муравьев-Апостол, брат Сергея Муравьева-Апостола, повешенного в Петербурге, активный участник восстания Черниговского полка, поселенный в Якутии — делился с норвежским уче-

ным своими наблюдениями над климатом края, над жизнью якутов. А наблюдений к этому времени у Муравьева-Апостола набралось уже немало. Для него, так же как для Николая Бестужева, характерно глубоко сочувственное отношение к угнетенному шаманами и старшинами, торгашами и чиновниками обездоленному народу.

«Якуты крайне правдивы и честны, — пишет Муравьев-Апостол в своих записках, — лукавства в них нет, и воровства они не знают».

И тут же он подробно описывает устройство якутских юрт, чумалы, оконные рамы, куда вместо стекол вставлен лед, соляной источник близ Вилюйска, ритуальные пляски шаманов. Муравьев-Апостол сделал ученому редкостные подарки: полуторааршинную челюсть мамонта, найденную якутами близ Вилюйска, и полный костюм самоедов. Дуэ с благодарностью принял подарки, намереваясь поместить их в музей.

Ботаника и зоология, этнография и молодая метеорология нашли среди декабристов в Сибири своих представителей. В каждой отрасли науки декабристы были на уровне современных им знаний, в курсе важнейших научных событий, и богатством собранного материала (как в метеорологии, ботанике, энтомологии), новизной научного подхода (как в этнографии) двигали науку вперед. Они — самостоятельные исследователи нравов, экономики, быта, поэтического творчества народов Бурятии и Якутии, растительного и животного мира Забайкалья. Они — ревностные корреспонденты создающихся и крепнущих научных учреждений в России. Они — деятельные, хотя и безымянные сотрудники экспедиций Миддендорфа и Гумбольдта, Федорова, Эрмана, Дуэ, а быть может, и знаменитого ботаника Турчанинова. Документов, подтверждающих такое предположение, в нашем распоряжении нет, но это не довод: ссылаться на декабристов, как мы видели, было запрещено строжайше. За правильность этого предположения говорит многое: и то, что Турчанинов жил и работал в Иркутске, а затем в Красноярске как раз в те годы, когда туда были сосланы многие из декабристов, и то, что о нем, как о близком друге, упоминает в своих письмах декабрист В. Раевский, и то, что некоторые из растений его гербария доставлены были ему В. Н. Басниным, другом Борисовых. Естественно предположить, что ботаник Турчанинов был знаком с Борисовыми

хотя бы через В. Баснина и мог пользоваться их дружеской помощью.

...Давно известно, что декабристам, разжалованным и сосланным в солдаты на Кавказ, обязаны были военачальники многими своими победами. Имена декабристов не упоминались в реляциях, не они получали чины и награды. Но артиллерией Кавказской армии при главнокомандующем Паскевиче фактически руководил выдающийся артиллерист, разжалованный за 14 декабря, полковник Бурцев, но именно его таланту, а также таланту военного инженера, разжалованного декабриста, Михаила Пушкина в большой степени обязан был Паскевич успехами при взятии Карса. Доблесть Александра Бестужева способствовала быстрой победе русских войск при овладении мысом Адлер. Разжалованных было на Кавказе немало, и каждый шаг русской армии запечатлен их дарованием и мужеством.

Другой фронт — фронт науки, на котором декабристы сражались в Сибири иногда в одиночку, иногда плечом к плечу с крупными учеными, тоже был отмечен их вдохновением, их доблестной стойкостью. Но реляции и с этого фронта умалчивали об их победах. Только иногда в чьем-нибудь обширном труде случайно мелькало опальное имя изгнанника, название растения, найденного им в мало известном краю, или кривая осадков, выведенная на основе его многолетних наблюдений...





## Глава четвертая

### КАЗЕМАТСКАЯ ВЕТОЧКА

«Политические изгнанники ...должны делать общее дело».

Декабрист М. Лунин. Записная книжка

Господин генерал-губернатор Восточной Сибири из переписки государственных преступников, на поселении находящихся, усмотрел, что некоторые из них обучают крестьянских детей российской грамоте. Находя это занятие государственных преступников противным прямому смыслу существующих узаконений и желая отвратить вредное влияние таковых учителей на умы учеников, его высокопревосходительство предписал состоящему в должности енисейского гражданского губернатора обратить на это особенное внимание и положить предел этому злу, допущенному местными властями, очевидно, по одной недалёковидности и недоразумению, подтвердив им, что дальнейшее с их стороны этому злоупотреблению поущение вовлечет их в неминуемую ответственность. Его превосходительство, извещая г. окружного начальника о сем, предписывает немедленно сделать распоряжение, чтобы государственные преступники ни под каким видом не занимались с сего времени обучением детей...»

Таков был секретный приказ, отданный генерал-губернатором Восточной Сибири в июле 1836 года. Приказ был получен, «особенное внимание» обращено. Гражданские губернаторы и окружные начальники сделали все, от них зависящее, чтобы прекратить «злоупотребления» и «попуще-

ния». Однако изгнанники, даже разлученные друг с другом, разбросанные по глухим углам Сибири, скованные неусыпным полицейским надзором, оказались сильнее начальства. И на каторге, и на поселении они ни на один день не прекращали просветительной и педагогической деятельности. Изумительно, с какой быстротой Сибирь, «страна изгнания», Сибирь, одно имя которой леденило душу, о которой только и принято было повторять даже в кругу образованных людей, что это «ужасная пустыня», «мрачный край», где среди вечных снегов подстерегают путника дикие звери да беглые каторжники — стала для декабристов родиной, такой же частью родной страны, как Петербург, Москва или Киев, таким же родным краем, подлежащим изучению и переустройству, как и вся Россия.

Казалось бы, естественно было возненавидеть край, обращенный в тюрьму. «Привязанность к той стороне, где живут в казнь за преступление и имя которой, как свист бича, устрашает — привязанность к этой стороне вам непонятна», — писал Батеньков из Сибири друзьям. Но декабристы полюбили Сибирь, ее природу, ее людей. «Мы не могли довольно налюбоваться этим молодым, славным поколением... — пишет о сибиряках декабрист Оболенский. — Они удивляли нас... развитием умственным, которое трудно было ожидать в таком далеком краю, о котором весьма редко носились слухи, и то, как о месте диком, где люди и природа находились в первоначальной своей грубости».

Искренне заинтересованные в экономическом, хозяйственном и культурном развитии края, декабристы, «обращенные на поселение», становились — каждый на своем месте, каждый в меру своих сил и возможностей — его деятелями, его работниками.

Петровский завод — «Академия» декабристов на реке Баляге — с годами рассылала своих славных учителей по всей Восточной и Западной Сибири. Они учили взрослых и ребят, делились с населением книгами, лекарствами, лечили больных, вводили усовершенствования в хозяйство. Многие из них привезли из Петровского каземата вместе с книгами и картами семена или черенки тамошних, возвращенных на тюремном двореке кустов и деревьев, и казематская веточка, принимаясь на новой почве, давала обильные плоды. «Из Петровского привез некоторые семена, собранные с тюремных наших кустов», — писал декабрист Иван Иванович Пущин, друг и лицейский товарищ Пушкина,

бывшему директору лицея Энгельгардту с места своего поселения. Просветительная деятельность декабристов в Сибири не была для них забавой или пустым препровождением времени. «Дни проходят в занятиях всякого рода, — писал Пущин Энгельгардту, — и умственных и механических... Скоро минет двадцать лет сибирским всякого рода существованиям и в итоге, может быть, окажется что-нибудь дельное: цель освящает и облегчает заточение и ссылку».

Что же это была за цель? О каком «общем деле» писал у себя в записной книжке Лунин?

«Провидение, быть может, назначило многих из моих соизгнанников... быть основателями и устроителями лучшей будущности Сибири, которая, кроме золота и холодного металла и камня, кроме богатства вещественного, представит со временем драгоценнейшие сокровища для благоустроенной гражданственности», — так, в своих воспоминаниях, отвечает на эти вопросы Розен.

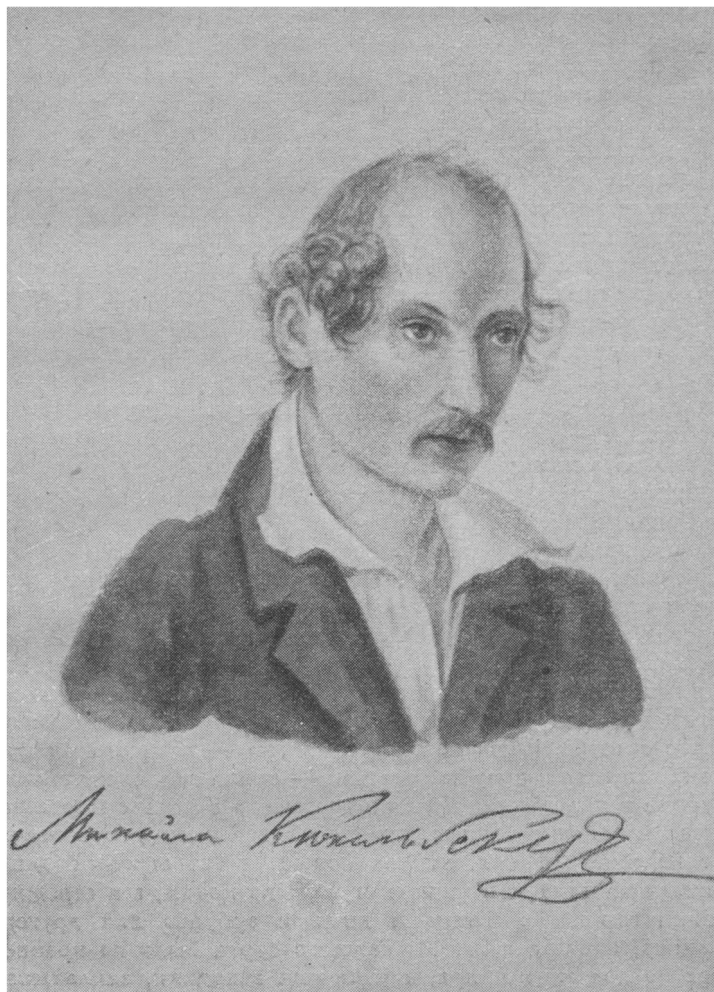
По-разному, но неуклонно творили декабристы эту «лучшую будущность», делали это общее дело, служа Сибири и ее культуре.

Михаил Кюхельбекер, опытный и образованный моряк, заброшенный на поселение в Баргузин, совершил на Байкале зимою 1837 года промер баргузинской губы. Добытые им сведения — первые данные о глубине Байкала после тех, которые были добыты в конце XVIII века экспедицией Палласа... Многие из декабристов собирали материалы для истории Сибири. Выдающийся публицист Лунин написал «Историческую записку об Анадырском остроге»; Михаил Бестужев — исторический очерк возникновения и развития Селенгинска. Опубликованный в 1861 году очерк ссыльного декабриста долгие годы являлся единственным источником сведений об этом городе.

Тот же Михаил Бестужев принимал участие в создании одной из первых в Сибири газеты — «Кяхтинского листка», и поместил в газете письмо к сестре, богатое сведениями о Кяхте.

Фон Бригген, поселенный в Пелыме, разыскивал данные о пребывании там Миниха. Александр Бестужев, бродя возле Якутска, разыскивал могилу Войнаровского и сосланной когда-то сюда с отрезанным языком Анны Бестужевой.

Ценные материалы по истории Сибири были в разное время собраны и под различными псевдонимами опубликованы



Михаил Карлович Кюхельбекер. Акварель Н. Бестужева.

*Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*



Штейнгелем. Он написал «Историю русских заселений на берегах Восточного океана», сделал статистическое описание Ишимского округа Тобольской губернии, где статистика и экономика идут рука об руку с этнографией. Богаты самым разнообразным материалом для истории Сибири и поздние «Записки» Штейнгеля, и очерк «Сибирские сатрапы», написанный им еще в каземате на Петровском заводе.

Многие декабристы сосредоточивали свои силы на деятельности практической, вводя усовершенствования в сельское хозяйство края. Так, декабрист Бечасный, поселенный в Смоленщине под Иркутском, научил крестьян выжимать масло из семян конопли и первый в этом краю устроил особую маслобойку. Михаил Кюхельбекер сам, своими руками, возделал 2½ десятины земли, огородил их и посеял хлеб. Это был первый хлеб, посеянный на баргузинской земле. Следом за ним и крестьяне начали расчищать землю под посевы — так в Баргузине началось хлебопашество. Он же хлопотал перед начальством о том, чтобы крестьяне были снабжены картофелем для посадки.

Владимир Раевский, поселенный под Иркутском в селе Олонках, выводил у себя на огороде особо крупные арбузы. Его примеру последовали окрестные жители, и скоро дешевые и сладкие олонские арбузы стали вытеснять с рынка дорогие, привозимые издалека, из России.

Николай Бестужев у себя в Селенгинске выращивал дыни и арбузы по собственному, тщательно разработанному методу и, разумеется, сделался горячим пропагандистом своего способа. «Я всегда поступал так, — объяснял он тем, кто обращался к нему за советом: — сажал семена китайских огурцов в половине февраля в горшки, а в начале марта зажигал маленький парник, который бывал у меня готов через две недели. Тогда я, избрав ясный и безветренный день, высаживал туда из горшков огурцы по краям, а в середину ставил горшки с семенами дынь и арбузов для другого парника, наблюдая, чтобы каждого сорта было по крайней мере по два экземпляра, а пока они всходили, закладывал другой большой парник, который также поспевал к началу апреля. Тогда высаживал лучшие экземпляры, оставляя всегда в запасе другие, перенося с ними горшки в новый парник».

И далее шли советы о том, с чем мешать чернозем, когда поднимать рамы и пр... Парники, столь распространенные теперь повсеместно в Сибири, во многих местах впервые

завели декабристы. «Окошки над овощью поднимали», — рассказывали в начале нашего века старожилы.

Урик, Усть-Куда, Оёк, Разводная, Олонки с прибытием туда декабристов покрылись огородами, которых там раньше не было. В Урике Лунин и Муравьевы, в Оёке — Трубецкой, в Олонках — Раевский развели великолепные сады; деревья из сада Раевского и до сих пор еще шумят вокруг школы в Олонках.

Географ Ушаров, посетивший Урик в 1864 году, записал на основании рассказов местных жителей: «Декабристов очень хорошо помнит вся деревня; они много помогали крестьянам, хотели даже улучшить у них хлебопашество, выпысывали семена, усовершенствовали плуги, бороны» и пр.

Юшневский под Иркутском первый стал разводить кукурузу. М. Муравьев-Апостол первый посадил картофель в Вилюйске, а Якубович — под Енисейском; А. Поджио на тюремном огороде в Чите первым вырастил огурцы...

«До нашего пребывания в Чите, — рассказывает Заваляшин, — число овощей, употреблявшихся в крае, было очень ограничено». Его слова подробно поясняет Розен. «Из различных пород овощей почти все были неизвестны за Байкалом: сажали и сеяли только капусту и лук. Товарищ наш, А. В. Поджио, первый взрастил в огороде нашего острога огурцы на простых грядках, а арбузы, дыни, спаржу, цветную капусту и колораби — в парниках, прислоненных к южной стене острога. Жители с тех пор с удовольствием стали сажать огурцы и употреблять их в пищу». Бестужев в Селенгинске, Беляевы в Минусинске улучшали породу овец; декабрист Нарышкин в Кургане первый в Сибири занялся разведением улучшенной породы лошадей. Веденяпин в Киренске и братья Беляевы в Минусинске первые начали сеять гималайский ячмень. Декабрист Спиридов, поселенный под Красноярском, усовершенствовал земледельческие орудия и создавал новые, «здесь неупотребительные, но необходимые для разрыхления и углаживания пашен». Андреев вместе с Чижовым устроил в Олекминске мукомольную мельницу. И настоящим всесторонним новатором сельского хозяйства был поселенный в Туруханском крае и так быстро погибший Шаховской. Официальный документ, сообщающий властям о его «поведении», отмечает: «Сосланный по приговору верховного уголовного суда в упраздненный город Туруханск преступник Шаховской по 1-е число минувшего мая вел себя добропорядочно... заботится о раз-

ведении картофеля и прочих огородных овощей, что донныне в сем крае не находится».

Вскоре из Туруханска Шаховской был переведен в Енисейск. И здесь мысль о необходимости сельскохозяйственных нововведений не покидала его. Он обратился к местным властям с просьбой помочь ему устроить особый хутор, специально приспособленный для «практических опытов» по введению в сельское хозяйство различных орудий, в том числе машин для выделки пеньки из льна...

Медицинскую помощь населению декабристы оказывали всюду, где бы их ни поселяли. Декабрист Вольф, «шгаб-лекарь 2-й армии», был врачом образованным и искусным. Сначала он лечил только своих товарищей в казематах Читы и Петровского; потом начал лечить и тюремщиков; постепенно добился разрешения лечить всех, кто к нему обращался: служащих и рабочих завода, жителей Читы и Петровского и бурят из дальних кочевий. Заинтересованный в использовании естественных богатств края, он, по свидетельству Завалишина, «делал разложение минеральных вод» Забайкалья. Поселен он был сначала в Урике, под Иркутском, потом в Тобольске — и всюду оказывал не только медицинскую, но и материальную помощь своим многочисленным пациентам, хотя сам был человек небогатый. В последние годы жизни он без всякого вознаграждения исполнял обязанности врача при тобольской тюрьме. Сообщая в 1854 году о смерти и похоронах доктора Вольфа, Штейнгель писал Пушкину:

«Длинный кортеж тянулся до самой могилы. Между простыми слышны были рассказы о его бескорыстной помощи страждущим: лучшая панегирика!»

Считал себя обязанным оказывать медицинскую помощь населению не только доктор Вольф. Остальные декабристы не имели специального медицинского образования и все-таки навещали больных, снабжали их лекарствами, пищей, теплой одеждой, давали советы. В Сибири, заброшенной царской колонии, было в те времена по одному врачу на 40 тысяч жителей. Декабристы располагали лечебными справочниками, редкими лекарствами, выписанными из Петербурга и Москвы, и познаниями образованных людей. И они всюду приходили на помощь населению, лишенному всяких медицинских пособий. М. Муравьев-Апостол, живя в Бухтарминске, с большим успехом лечил местных жителей, «пользуясь указаниями лечебника Каменецкого». Свежими



Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Акварель неизвестного художника. 1823.

*Музей Революции. Ленинград*

овощами вылечил он от цынги старую казачку, которая до той поры питалась одной сухой рыбой; тщательным уходом залечил рану кучера, которому лошадь копытом глубоко рассекла щеку. Уезжая из Вилюйска, он пожертвовал свою юрту прокаженным, брошенным местными властями на произвол судьбы.

Когда в 1848 году на Тобольск обрушилось страшное бедствие — холера, декабристы П. Бобрищев-Пушкин, Фонвизин с женой и Свистунов с женой, рискуя жизнью, ухаживали за больными. Михаил Кюхельбекер успешно лечил русских, бурят и тунгусов в Баргузине; Нарышкин с женой оказывали медицинскую помощь населению в Кургане, Шаховской — в Туруханске, Завалишин — в Чите, Ентальцев, Якушкин, Пушин — в Ялуторовске. «Масса нас всех принимает за лекарей и скорее к нам прибегает, нежели к штатному доктору, который всегда или большей частью пьян и даром не хочет пошевелиться», — писал Пушин.

Запрещение учить, строжайше объявленное генерал-губернатором, декабристы обходили всеми хитростями, всеми правдами и неправдами. Настоящая сеть школ и высших учебных заведений появилась в Сибири, как и во всех областях Союза, только после Великой Октябрьской социалистической революции. В шестидесятых годах прошлого века на территории Сибири, от Урала до Енисея, насчитывалась всего 21 школа. В наше время в Сибири, как и во всей стране, семилетнее образование для детей обязательно — школа чуть ли не в каждом селе. Крупные города — Иркутск, Чита, Тобольск, Красноярск, Якутск, Томск — располагают университетами, педагогическими, медицинскими, машиностроительными, горнометаллургическими, сельскохозяйственными институтами. Но 125 лет назад в Сибири не только не было высших учебных заведений, но и средние и низшие насчитывались единицами. Во всей Иркутской губернии, кроме одной единственной гимназии, существовало всего 7 школ, в Тобольской — 8, в Енисейской — 3. Власти не отпускали на них почти никаких средств, и школы, по словам историка, «влачили жалкое существование».

Декабристы явились пионерами просвещения в Сибири. Бестужевы учили ребят в Селенгинске, Завалишин — в Чите, Горбачевский, — оставшись на поселении в Петровском, Пушин — в Туринске и в Ялуторовске, Муравьев-Апостол — в Вилюйске. Так как во всей округе ни у кого не было часов, Муравьев стал вывешивать над юртой флаг и,

завидев флаг, ребятишки собирались к поселенцу учиться. Но этого мало. Декабристы, находясь на поселении, создали в Сибири несколько настоящих школ, работавших регулярно в течение многих лет. Регулярную школу устроили в Минусинске братья Беяевы — первую в этом городе. И славными в летописях сибирского просвещения и русского педагогического искусства должны остаться три учебных заведения, созданные декабристами: мужская и женская школы Якушкина в Ялуторовске и школа Раевского в Олонках.

Иван Дмитриевич Якушкин, по словам Герцена, «один из самых замечательных, исполненных силы и благородства деятелей в Тайном союзе», был осужден по первому разряду, приговорен к смертной казни, а после смягчения приговора сослан на каторгу. Отбыв срок каторжных работ в Чите и на Петровском, Иван Дмитриевич был поселен в Ялуторовске. Постепенно тут образовалась целая колония декабристов: М. Муравьев-Апостол, Пущин, Оболенский, Ентальцев, Басаргин, Тизенгаузен. И все они — и не только они, но и их жены, друзья и знакомые — были вовлечены Якушкиным в благородное дело: обучение ребятишек, создание в Ялуторовске мужской, а потом и женской школы.

Главной чертой характера Якушкина была, по определению его друга и товарища, декабриста Басаргина, «твердая, непреклонная воля во всем, что он считал своею обязанностью и что входило в его убеждения».

С твердостью воли сочеталась редкостная способность осуществлять свои идеи на практике в любой обстановке. В 1820 году, узнав о том, что в Рославльском уезде неурожай и голод, что люди едят кору, он вместе с другими членами Союза благоденствия отправился туда, составил списки голодающих, организовал в Москве сбор пожертвований и методически, по спискам, распределил собранные деньги и хлеб между наиболее нуждающимися.

Тот же практический смысл, подчиненный высокой идее, тот же дух настойчивости и порядка принес Якушкин и в Сибирь. Обязанностью своей, своим гражданским долгом, оказавшись в Ялуторовске, он счел борьбу против невежества. И, как Николай Бестужев в каземате «создал часы из ничего», так Якушкин в Ялуторовске создал «из ничего» две школы.

Стесненный в материальных средствах, не имея возможности завести себе в суровом сибирском климате даже шубы,

Якушкин задумал во что бы то ни стало открыть школу для мальчиков и девочек и, по словам Басаргина, «одною своєю настойчивостью, своею деятельностью и, можно сказать, сверхъестественными усилиями достиг цели». Долго готовился он к осуществлению своей мечты. Вечерами писал учебник географии, составленный на местном материале, чертил таблицы и карты, клеил глобус, а в ясные летние дни, в остроконечной шапке, с палкой в руке, с котомкой за плечами, бродил по окрестным полям, собирая растения для гербария. Чертить, клеить, сочинять таблицы заставлял он всех товарищей.

«Служил у пана семь лет, выслужил семь реп», — выписывал он крупным каллиграфическим почерком, лукаво улыбаясь в черные усы, а рядом с ним, кое-как примостившись в углу его крошечной, похожей на каюту комнате, кто-нибудь из друзей мастерил указки или кроил чехол на глобус. Заботами Ивана Дмитриевича была изготовлена для школы электрическая машина Бунзена, устроен гигрометр, пружинный термометр и укреплен ветромер на высоком столбе. На улице — в остроконечной шапке и с тяжелой палкой в руках, дома — окруженный загадочными инструментами, которые предупреждали его о дожде и о вьюге, Иван Дмитриевич казался местным ребятишкам, да и взрослым, каким-то колдуном, чернокнижником, и сначала они побаивались его. Но скоро и ребята, и взрослые поняли, что если это и колдун, то особенный: начальство вокруг пальца обернет, в дураках оставит, а с ребятами и простыми людьми хоть и строгий, но добрый.

Чтобы настоять на своем, Иван Дмитриевич воспользовался приятельством с местными священниками, а также приказом синода, в котором в целях «укрепления веры» предписывалось «епархиальному начальству» «располагать и поощрять приходское духовенство к заведению и поддержанию при церквях училищ». Ему удалось «расположить и поощрить» местного священника взять школу под свое покровительство, а местного купца, тоже приятеля, — приобрести для школы дом. На себя же он принял обучение ребят, подготовку учителей и сбор денежных средств.

«Нельзя было не удивляться его постоянному усердию и ревности к усовершенствованию и преуспеванию училища, — вспоминает декабрист Оболенский. — Ежедневно в продолжение двенадцати или тринадцати лет приходил он в училище в начале девятого часа утра и оставался там до



Иван Дмитриевич Якушкин. Литография с рисунка К. П. Мазера.

*Государственный литературный музей. Москва*



двенадцати. После обеда тот же урок продолжался от двух до четырех часов. Неумолимо преследуя избранную им цель, он никогда не уклонялся от обязанностей, им на себя наложенных, и хотя дьякон и соборный причетник, им приготовленные, могли бы его заменить, он никогда не доверял им дело обучения; он не надеялся в них найти ту нравственную силу, ту ревность, которые необходимы для успешного достижения цели. В этом он не ошибался. Едва ли кто мог идти не только наравне с ним, но и следовать за ним было весьма трудно».

Доносы со стороны местных чиновников на «государственного преступника», который осмелился заниматься преподаванием, сыпались, как из рога изобилия. Однако недаром о нем говорили, что он всякое начальство обведет вокруг пальца. Якушкин писал длинные бумаги, объясняя, что школа не его, а «церковно-приходская», что обучает не он, а священник. Чиновники попытались натравить на учителя измученных неурожаем крестьян. Нарочно распустили на базаре слухи, что виною засухи — чернокнижник-учитель: поставил колесо на столбе и разгоняет тем колесом облака! С притворным сочувствием городничий довел эти слухи до сведения Якушкина и высказал опасение, как бы «темный народ» не ворвался во двор, не наделал беды... Якушкин учтиво возразил городничему, что он чувствует себя в полной безопасности, пользуясь неусыпным попечением столь мудрого и просвещенного начальника... «Чего мне бояться? Ведь если что случится, — отвечаете вы, не так ли, господин городничий?» — добавил он, улыбаясь в усы. И городничий раскланялся и ушел, проклиная в душе и Якушкина и высшее начальство, которое сослало сюда этих зловредных людей, ему, городничему, на горе.

Преподавание в обоих училищах велось по методу взаимного обучения. Классные комнаты были высокие и светлые, с большими окнами. Парты длинные, на несколько человек каждая. Возле одной стены кафедра, а возле других — полукруги из железа, стоящие на одной ножке и пристегнутые крючками к петлям, вбитым в стену.

«В середину такого круга, — рассказывала в двадцатых годах нашего века ученица Якушкина, Ольга Балакшина, — становится один из учеников, уже прошедший и усвоивший этот круг, по назначению Якушкина, а кругом, сложив руки назад, становилось несколько человек, которым еще надо было этот круг пройти. На стену вешались таблицы,

и стоящий в кругу ученик показывал указкой ту или другую букву, цифру и т. д..., а стоящие вокруг по очереди отвечали... Наиболее успевающие... становились к одному концу, а плохо знающие — к другому. И с конца, где стояли уже усвоившие этот круг, ученики переводились Якушкиным к следующему кругу, а на их место подвигались другие».

Ребята, хорошо усвоившие содержание таблиц, садились за парты. Сидящие впереди писали палочками по песку, насыпанному в особые ящики; в средних рядах — грифельными по аспидным доскам, в последних — чернилами.

Классной доски не было, а все, что требовалось, было написано на развешанных по стенам таблицах. Были таблицы по русской, латинской и греческой грамматике, по русской истории, по арифметике и геометрии. Но природу изучали ребята не по таблицам, а на живых растениях: «Весной, летом и осенью после занятий обычно шли в поле, — вспоминает Ольга Балакшина, — и Якушкин показывал на примере жизнь природы, так как он был хороший ботаник».

Через обе школы Якушкина прошли за 14 лет около семисот учеников и учениц — дети мещан, купцов и крестьян. Для того, чтобы школу могли посещать дети из беднейших семейств, декабристы снабжали их пимами и полущубками, а за детьми из дальних деревень Якушкин посылал лошадь.

Культурно-просветительная деятельность декабристов в Сибири среди русских, среди бурят и тунгусов была тесно связана с теми идеями, которые вели их на борьбу против царского правительства, которые вдохновляли их всю жизнь. Она имела ближайшее отношение к той «цели», о которой писал, не называя ее, Пущин, она была частью того «общего дела», которого требовал от изгнанников Лунин.

Казненный вождь декабристов, Пестель, в проекте будущей конституции России, названной им «Русская правда», говоря, в частности, о «восточно-сибирских народах», указывал на необходимость «изыскивать средства к водворению земледелия», «заботиться о разведении картофеля и разнообразных овощей» и, главное, «способствовать к смягчению суровых нравов и введению просвещения и образованности». «Надлежит заботиться об улучшении их положения», — писал он о кочевых народах Сибири. «Да сделаются они нашими братьями и перестанут коснеть

в жалостном их положении». Многие из декабристов могли бы сказать о себе, что, оказавшись в Сибири, они свято исполняли этот завет, приближающий грядущее братство народов. Что же касается самого метода обучения, применявшегося ими в школах, — он тоже был тесно связан с той просветительской и пропагандистской работой, которую вели декабристы среди населения и в войсках еще до восстания.

Быть может, самым выдающимся пропагандистом и педагогом был среди деятелей тайного общества Владимир Федосеевич Раевский, в двадцатых годах руководивший солдатской и юнкерской школой в Кишиневе, а в тридцатых (после шестилетнего заключения в крепости) — крестьянской школой под Иркутском, в Олонках. Ненависть к произволу и рабству Владимир Раевский проповедовал всегда, везде: таблицами для взаимного обучения, стихами, прозой, в корпусе, в армии, в крепости и на поселении в Сибири. «...Кто дал человеку право называть человека моим и собственным? По какому праву тело и имущество и даже душа одного может принадлежать другому? Откуда взят этот закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человекoв? Не из источника ли грубого, неистового невежества, злодейского, скотских страстей и бесчеловечья?» — гневно спрашивал он в «Рассуждении о рабстве», ходившем по рукам в начале двадцатых годов.

В этом «Рассуждении» ясно слышен голос великого предшественника декабристов, изобличителя злодейств помещичьего государства, борца за свободу крестьян — А. Н. Радищева. «Взирая на помещика русского, — продолжает Раевский в юношеском своем «Рассуждении», — я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым потом своих подданных, что атмосфера, которою он дышит, составлена из вздохов сих несчастных; что элемент его есть корысть и бесчувствие... Какое позорище для каждого патриота видеть вериги, наложенные на народ правом смутных обстоятельств и своекорыстия! Зло слишком очевидно, чтобы самый недалновидный зритель не постигал его».

И вся жизнь Раевского до ареста была посвящена разоблачению «очевидного зла». Участник Отечественной войны, награжденный шпагой «за храбрость», оказанную при Бородине, и другими орденами за участие в заграничных походах, Раевский в 1817 году вышел в отставку. «Железные

кровавые когти Аракчеева, — так объяснял он свое нежелание служить, — сделались уже чувствительны повсюду. Служба стала тяжела и оскорбительна... Требовалось не службы благородной, а холопской подчиненности». Но в 1818 году, когда среди офицеров возникло одно из ранних тайных обществ — Союз Благоденствия — Раевский вернулся на военную службу. В 20-м он стал членом общества. А когда в середине 1820 года командовать 16-й пехотной дивизией был назначен один из учредителей Союза Благоденствия Михаил Федорович Орлов, Раевский сделался его правой рукой. Командуя 16-й дивизией, Орлов поставил перед собою две цели: искоренить телесные наказания и устроить школы для солдат. На всю жизнь запомнили солдаты 16-й дивизии приказы своего благородного командира, который объявил, что будет сурово карать офицеров, тиранящих «нижних чинов».

«В Охотском пехотном полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат, — писал Орлов в этом историческом приказе. — Общая жалоба низших чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду... Для них и им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания... Кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат, сей достойный сын отечества, который в целой Европе почитаем, не может быть доведен без побоев до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем гг. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они могут заблаговременно оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их незаконные поступки».

«Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение с нижними чинами противно не только всем правилам, но и всем опытам».

По поручению Орлова, который был руководителем кишиневской ячейки Союза Благоденствия, Раевский

собирали сведения о бесчинствах и насилиях офицеров аракчеевского толка и составил записку «О солдате», проникнутую духом идей тайного общества. Ему же Орлов поручил заведывать двумя школами дивизии — солдатской и юнкерской. Преподавание в обеих школах должно было вестись по методу взаимного обучения. Орлов был горячим поборником этого метода, сам разрабатывал соответствующие учебные пособия и говорил, что когда-нибудь метод этот в России будет именоваться орловским. «Раевский был для меня находкой, и я им дорожил», — объяснял впоследствии Орлов. В самом деле, кроме дара литератора, пропагандиста, поэта, Раевский обладал обширными познаниями. «Он был для своего времени отличным географом, историком и этнографом... история и география родной страны его более всего интересовали», — пишет о Раевском советский литературовед В. Базанов. Под руководством Раевского по составленным им таблицам солдаты охотно обучали друг друга, делая большие успехи в чтении, письме, счете, географии, истории. Но этого Раевскому было мало. Он хотел сообщить учащимся новые революционные понятия, внушить им ненависть к угнетению, развить высокое чувство любви к отечеству. И в его таблицах, которые висели в классе, в прописях, которые переписывали ученики, стояло имя великого русского полководца Суворова и борца за независимость Америки Вашингтона; стояли имена испанских революционеров Квиросо и Риго, глубоко почитаемых декабристами, имя древнего поборника республики Брута. Обращаясь к истории, Раевский на примерах прошлого стремился воспитывать в учениках высокие гражданские чувства.

«Взошел на кафедру... и загремел о подвигах предков наших, о наших собственных подвигах и будущих наших подвигах, о Румянцеве при Калуге, о Кутузове при Бородине»... — рассказывал Раевский о своих лекциях в письме к одному из друзей.

Вечером 5 февраля 1822 года кто-то быстро, легко и нетерпеливо постучал в дверь того дома, где жил в Кишиневе Раевский. Это был Пушкин, сосланный на юг за вольнолюбивые стихи. В Кишиневе Пушкин близко сошелся с Раевским, оценил его поэтический дар, часто виделся и целыми вечерами спорил с ним о политике, истории, обо всем на свете. Теперь он пришел предупредить Раевского: Александр Сергеевич оказался случайным свидетелем разговора между заместителем Бессарабской области генералом Инзовым и

командиром корпуса Сабанеевым. Разговор шел о том, что Раевского следует арестовать.

Раевский поспешно уничтожил бумаги. Таблицы с именами героев и прописи, где встречались слова: свобода, равенство, конституция, полетели в огонь.

В ту же ночь Раевского арестовали и через несколько дней отвезли в Тираспольскую крепость. Так начался разгром кишиневской группы декабристов. Орлов был отставлен от командования дивизией. Следствие тянулось несколько лет. Допрашивали офицеров, допрашивали Раевского, допрашивали солдат и снова Раевского. Солдаты не давали против него показаний, всячески старались спасти его: о свободе слыхом не слыхали, их высокородие учили нас только читать и писать... Под угрозой палок им подсказывали ответы — они уклонялись. «Роту окружили офицеры, угрожали, ласкали и говорили: он уже и без того погиб, говорите, показывайте! Вы его не спасете, а сами погибнете!» — сообщал о следствии Раевский. Корпусной командир Сабанеев на допросах собственноручно избивал рядовых...

Процесс поступал из одной секретной комиссии в другую, папки распухали, год шел за годом, но настоящих улик, благодаря стойкости Раевского и его учеников, в распоряжении следствия не было. И Раевский, быть может, оказался бы на свободе, но после 14 декабря 1825 года дело его приняло крутой оборот. Он был признан одним из участников заговора, потрясшего империю, и отправлен на поселение в Сибирь.

Скажите от меня Орлову,  
Что я судьбу свою сурову  
С терпеньем мраморным сносил —  
Нигде себе не изменил —

писал Раевский в «Послании к друзьям в Кишинев», тайно присланном из Тираспольской крепости. Не изменил Раевский себе и в Сибири. Тем же героическим вольнолюбием дышат его стихи, той же ненавистью к произволу — письма к Герцену в «Колокол» о самоуправстве сибирских властей и письма к другу юности — Батенькову. Заброшенный в глухую деревню, он снова взялся за то дело, которое считал своим гражданским долгом: просвещение народа. Когда-то вокруг него были солдаты, теперь — сибирские крестьяне и крестьянки, дети, женщины, молодые парни, старики. Он

устроил школу для детей и для взрослых. Снова склонялся он над составлением учебников, снова глядел в глаза обездоленным людям, убеждая их, что «ученому везде легче». «Которые были поумнее — стали учиться, — рассказывала в начале нашего века олонская жительница П. Н. Ружицкая. — Даже женатые стали ходить в училище. Тогда это было очень удивительно». Объяснял ли Раевский крестьянам в Олонках, как когда-то солдатам в Кишиневе, значение заветных слов: свобода, равенство? Прямого ответа на этот вопрос нет, бумаги олонской школы не сохранились, но косвенным указанием на продолжение пропагандистской работы в Сибири может служить постоянный интерес царской охранки к Раевскому: то у него «учиняли» обыск и опечатывали бумаги, то без конца требовали объяснений по поступившим доносам.

«Пока Владимир-то Федосеевич жив был, — рассказывал в 1924 году восьмидесятилетний старик-крестьянин, — заседателишки и сунуться к нам боялись». Эта фраза раскрывает еще одну сторону деятельности Раевского и других декабристов в Сибири. Раевский, сам находившийся под строгим надзором, был неизменным ходатаем, заступником за крестьян перед местной властью. В письме к Батенькову он назвал себя однажды «адвокатом народным». Помогали населению отбиваться от неправых притязаний, взяточничества, крючкотворства и другие декабристы: Пущин, Якушкин, Оболенский. В прошлом, еще до 14 декабря, Пущин, выйдя в отставку из гвардейской конной артиллерии, променял карьеру блестящего гвардейца на скромное место судьи. Родня и светские знакомые Пушина косо смотрели на этот поступок: дворянское ли дело — сидеть в канцелярии? Но среди друзей и единомышленников деятельность Пушина вызвала глубокое уважение. Один из пунктов устава Союза Благоденствия предписывал членам тайного общества занимать должности в гражданском ведомстве с целью уничтожения лихоимства. И Пущин на месте судьи был непреклонным гонителем неправды. В Москве через много лет помнили, с каким достоинством, ревностью, неподкупностью исполнял Пущин свои трудные обязанности.

В первоначальной редакции «19 октября 1825 года» Пушкин, обращаясь к Пушину, писал:

Ты, освятив тобой избранный сан,  
Ему в очах общественного мнения,  
Завоевал почтение граждán.

В Сибири, на поселении, Пущин, не имея никакого сана, кроме сана «государственного преступника», продолжал свое дело «гонителя неправды». Когда он прибыл в Ялуторовск, «все оскорбленное и униженное, — по рассказам одного из ялуторовцев, — охающее и негодующее начало стекаться к нему как к адвокату. Уверившись, что дело, о котором его просят, законное или гуманное, он брался за перо, и письма летели, как бомбы...»

За юридической помощью населению, за организацией школ, за скромной раздачей семян и лекарств стояла не благотворительность и не прихоть, а гражданская доблесть.

Не филантропами оказались в Сибири декабристы, а общественными деятелями. Так сами они смотрели на себя, так смотрело на них и население. Учитель, посылающий полушубок и сани ребенку, который из-за мороза, дали и бедности лишен возможности притти в школу, — такой учитель учит народ не только арифметике. Врач, безвозмездно оказывающий помощь всем, без различия, богатым и бедным, русским, бурятам, тунгусам, якутам, — делает тем самым не одно медицинское дело. Ссылный, которого боялся «заседателишки», который заступает за каторжников или односельчан, который осмеливается громко осуждать распоряжения начальства, — это не просто поднадзорный, но представитель новой силы, неведомой в бесправной колонии царской России, — силы общественного мнения...

Известно, что с энергией и умением отстаивал интересы угнетенных декабрист Семенов, оставивший по себе добрую славу в Тобольске, где он много лет служил в Главном управлении Западной Сибири. «Трудно ему, бедному, бороться со злом... — писал о нем Пущин, — трудится сколько может и чрезвычайно полезен».

Так же «чрезвычайно полезен» был в Тобольске в сороковых годах Штейнгель, сблизившийся там с губернатором и дававший ему советы по делам управления и уголовным делам. Популярность ссыльного декабриста среди жителей Тобольска и влияние на местную власть вызвали неудовольствие генерал-губернатора Западной Сибири, и он приказал перевести Штейнгеля в уездный город Тару, а начальник Третьего отделения граф Бенкендорф пригрозил, что, если «государственный преступник» в будущем «дозволит себе вмешательство в дела, до него не касающиеся, к удержанию его от этого будут приняты строжайшие меры».



«В сосланных и поселенных декабристах вообще, — пишет историк, — и в бароне Штейнгеле, быть может в особенности, сибирские губернские власти имели, конечно, опасных «протестантов» на свои злоупотребления. Это были не якуты и камчадалы, с которых можно было драть тройной ясак, не богачи-золотопромышленники или купцы, которым за щедрые взятки дозволялось безнаказанно... грабить народ». Обличать злоупотребления в Сибири, насилия и издевательства над ее народом Штейнгель начал еще в тюрьме. Его очерк «Сибирские сатрапы», написанный им в Петровском каземате, — это, в сущности, резкий памфлет. Целая галерея деспотов и самодуров конца XVIII и начала XIX века, «душивших народ, как говорится, в гроб», была создана Штейнгелем. Автор предупреждал, будто описываемые им нравы — «давно прошедшее», но каждому было ясно, что это — одна оговорка, что время неправосудия, взяточничества, вымогательства отнюдь не прошло. Друзья переправили рукопись за границу, и в 1859 году она была напечатана «в вольной русской типографии» Герценом.

Другое обличительное произведение, в создании которого принял участие Штейнгель, называлось «Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь, по канату». Это — подлинный рассказ некоего Василия Колесникова, заключенного в каземате вместе с декабристами, записанный и проредактированный Штейнгелем. Колесников — юноша, член оренбургского кружка молодежи, которого приговорили к 12 годам каторжных работ, примкнули вместе с другими осужденными к железному пруту и по этапу, в оковах отправили из Оренбурга в читинский каземат... Мытарства «несчастливого» возбуждали в слушателях и читателях сочувствие к нему и ненависть к его палачам.

Крупным общественным деятелем Забайкалья сделался в годы своего поселения в Чите декабрист Завалишин. Занимаясь изучением Сибири еще до восстания, он в казематах Читы и Петровского по книгам усиленно изучал край, поражая коменданта изобилием собранных им статистических сведений, а, выйдя на поселение, вычертил карту Забайкальского края, наиболее точную по тем временам. Обосновавшись в Чите, он настоял на возобновлении «казацкой» и «крестьянской» школ, снабдил их учебниками и сам посвящал много времени обучению местных жителей, взрослых и детей, ремеслам, садоводству, грамоте, истории, географии, математике.



Зимой на берегах Амура. Акварель Е. Карнеева.  
(Первая четверть XIX века).

*Государственный исторический музей. Москва.*

«Я учил всякого, независимо от его звания и положения, всему, что он только мог изучать по способности и по охоте. Платы я не назначал никакой»... рассказывает Завалишин о читинском периоде своей жизни. Иногда он вмешивался в дела, которые, по терминологии начальства, «до него не касались». И пытался учить тех, кто вовсе не имел «охоты» учиться у ссыльного, хотя бы и такого образованного, каким был Завалишин. Одни клали его дельные проекты под сукно, другие преследовали декабриста за «неуместное вмешательство». Но Завалишин продолжал упорно учить власть имущих. Во время сенатской ревизии 1845 года он подал сенатору Толстому «меморию» об «особом административном и хозяйственном устройстве Забайкальского края» и о «необходимости приобретения Амура». Декабристы, передовые люди своего времени, еще задолго до открытий великого путешественника Невельского и

до экспедиции генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева поняли, что Амур насущно необходим для России, что весь он должен стать русским. Штейнгель еще в 1812 году толковал с адмиралом Мордвиновым о необходимости «приобретения Амура», а Завалишин в 1824-м, на возвратном пути из Калифорнии, усердно собирал в Сибири сведения об устьях великой реки. Хотя казаки под начальством Пояркова спустились от ее верховьев до устья еще в XVII веке, в XVIII веке в географической науке прочно установилось ошибочное мнение, будто Амур несудоходен, будто Сахалин — полуостров, отделенный от материка отмелью, будто вход с юга в Амурский лиман недоступен для морских судов, будто устье Амура заперто мелями. Ошибка Лаперуза и Броутона, подтвержденная авторитетом Крузенштерна, который в 1803 году обследовал берега Сахалина, была окончательно опровергнута только Невельским в 1849 году. Но Завалишин, сидя в конце двадцатых годов в Чите, в каземате, замышлял общий побег узников из тюрьмы водным путем — по Амуру. Судно должны были соорудить преданные узникам караульные солдаты. На основании собранных им материалов и самостоятельно вычерченной карты, Завалишин с полной убежденностью утверждал, что Амур судоходен, что там, где предполагаются пороги и мели, их в действительности нет, что по Амуру можно выйти в океан. Мысль о побеге из тюрьмы декабристам пришлось оставить, но мысль необходимости для России «приобретения Амура» — драгоценного торгового пути, удобнейшего выхода в океан — никогда не покидала ни Штейнгеля, ни Завалишина. Декабристы прекрасно понимали необходимость Амурской экспедиции Н. Муравьева.

«На Восточном океане, или лучше на Тихом океане, там могут со временем совершиться великие события под русским флагом — и он будет все-таки началоположником. И помоги ему господь!» — писал об Н. Муравьеве и его экспедиции В. И. Штейнгель.

Возвращение России земель по Амуру было любимой мечтой Завалишина. Сначала генерал-губернатор Н. Н. Муравьев, в будущем граф Амурский, прислушивался к голосу образованного декабриста, сделал Читу, по его совету, центром области, поручил ему составить план построек в городе, выслушивал его указания при подготовке экспеди-

ции на Амур. Но когда Завалишин стал разоблачать бюрократизм и самодурство Муравьева, по милости которого переселяемые на новые земли крестьяне, не обеспеченные продовольствием, тысячами гибли от тифа и голода, Муравьев начал теснить Завалишина, стараясь принудить его замолчать. Это оказалось нелегко. Пользуясь временным ослаблением цензуры, Завалишин выступил на страницах «Морского сборника» и «Вестника промышленности» с громкими статьями, разоблачающими преступный бюрократизм Муравьева и его помощников... Номера журналов со статьями Завалишина читатели Забайкалья вырывали друг у друга из рук; генерал-губернатор приказал выслатъ Завалишина из Читы, но общественное мнение Сибири было и осталось на стороне изгнанника.

Сибирь усыновила декабристов: «жители скоро ознакомились с нами и полюбили нас», — кратко говорит Басаргин. С годами и узники полюбили «страну изгнания». Они близко принимали к сердцу все, что касалось обороны русского Дальнего Востока, и, когда во время Крымской войны англо-французский флот совершил нападение на Петропавловск-на-Камчатке, возмущение их не знало границ. «С каким горячим патриотическим участием и неослабным интересом... ссыльные декабристы Пушкин, Штейнгель, Батеньков, Сергей Волконский, Евгений Оболенский следили за беспримерно-героической (и победоносной!) защитой Камчатки, — пишет академик Е. Тарле в своем исследовании «Крымская война». — Как жадно слушали они приехавшего в Ялуторовск Максутова, одного из героев Камчатской обороны! Мало того, они, разбросанные по Сибири, переписывались и совещались о наиболее целесообразных мерах к ее обороне, и их мнения и советы становились известными и учитывались генерал-губернатором Муравьевым-Амурским... В доме Пушкина в Ялуторовске Матвей Муравьев-Апостол и Иван Якушкин образовали своего рода «стратегический пункт», куда стекались вести о подвигах кучки русских героев, заставивших союзную эскадру уйти прочь после истребления высаженного ею десанта».

«Я слишком сроднился с Сибирью», — писал В. Раевский. «Я породнился с Сибирью», — вторил ему М. Муравьев-Апостол. «Наша Сибирь», — говорил А. Поджио. Любовь декабристов к Сибири совершенно понятна: они вложили большой самоотверженный труд в дело изучения

ее природы, в дело образования ее народов. Они умели писать о ней, они создали ее поэтический образ.

С полей отчизны, с гор высоких  
Сберу цветы страны родной —

писал заброшенный в глухую ссылку Чижев. Ссылный декабрист называет место своего изгнания «отчизной» и любовно перечисляет сибирские цветы — «цветы страны родной»:

С долин Даурии гористой  
Возьму роскошный Анемон,  
Статис роскошный и душистый  
И снежной белизны Пион.

Возьму душистых Роз махровых  
С Саянских каменных гор,  
И Сараны цветов багровых —  
Камчатки сумрачный убор.

Пускай приют мой небогатый,  
В замену счастья даров,  
Рукою Флоры тароватой  
Украсит роскошью цветов.

Под их пером это не мертвая, дикая пустыня, а прекрасная плодородная богатая земля — край необыкновенной красоты. В воспоминаниях и письмах декабристов Михаила и Николая Бестужевых, братьев Беляевых, Басаргина, Лорера, Горбачевского, Пушина, Штейнгеля, Завалишина, М. Муравьева-Апостола, А. Муравьева, Розена в изобилии рассыпаны наблюдения над течением рек Сибири, над богатствами ее недр, нравами, обычаями, верованиями, историей ее народов. Великолепны картины сибирской природы, запечатленные декабристами. Известно, что Гоголь воспроизвел в русской литературе прелесть украинского пейзажа, Лермонтов — кавказского, Пушкин — русского; прелесть и разнообразие сибирского пейзажа запечатлели в своих писаниях декабристы: Александр Бестужев-Марлинский — в сибирских очерках; Николай и Михаил Бестужевы, Вильгельм Кюхельбекер, Петр Борисов, Пушин, Батеньков — в письмах; Басаргин, Беляевы, Розен, Оболенский — в письмах и мемуарах. Страницы, посвященные горам и озерам Сибири, ее необозримым пространствам, ее тишине и морозу, северному сиянию, вспыхивающему над ее городами, сверкающим льдам ее рек, представляют собой, при известной родственности зрения и стиля, как бы единую поэму, воспевающую красоту Сибири.

Привязавшись к «стране изгнания», почувствовав себя ее исследователями, общественными деятелями, гражданами, декабристы ревниво исправляли ошибки, которыми изобиловала тогдашняя литература о малоизвестном крае. Декабрист Муханов, поселенный в Усть-Куде, записывал местные слова и выражения, желая дополнить и исправить существующие словари. Николай Бестужев делал то же в Селенгинске. Узники Петровского каземата, читая на досуге книги и журналы, вели список всех замеченных промахов, искажений, ошибок. «Мы, — сообщает Штейнгель, — записывали их как ни попало, то на переплетных местах книг, то на лоскутках, служащих вместо закладок, в намерении когда-нибудь составить статью». Через много лет Штейнгель исполнил общее намерение и «составил» статью, исправляющую ошибки журналистов. В «Лесном журнале» за 1833 год указывалось, будто сосна «боится сибирских гор», будто на горах в Сибири растут только ели и «ни та ни другая на твердой земле не простирается далее 130° восточной широты». «В Сибири горы усеяны сосняком, — поправляют специальный журнал узники. — Сосна оканчивается по Охотскому тракту, за рекой Алданом, Чардальским хребтом, с которого течет река Чардала, впадающая в реку Белую, текущую в Алдан. Самое название «Чардала» по-якутски означает «сосновую» реку, и она находится за 150° восточной долготы».

«В периодических изданиях такие промахи еще простительны, — продолжает Штейнгель, — но грустно видеть недостатки и неверности в книгах учебных, издаваемых господами профессорами». И далее следуют исправления ошибок, весьма существенных: рассказывается о том, каким путем в действительности доставляют товары на Камчатку, о торговле в сибирских городах — Красноярске, Енисейске и Иркутске, о воздействии русских на камчадалов.

Во всех писаниях декабристов о «стране изгнания», поэтических и научных, публицистических и исследовательских, во всей их сибирской общественной деятельности сквозит предчувствие великого будущего Сибири. «Я не могу не сказать несколько слов об этой замечательной стране, бывшей предметом долговременных моих размышлений и наблюдений. — писал декабрист Басаргин. — Сибирь на своем огромном пространстве представляет так много разнообразного, так много любопытного, ее ожидает такая блестящая

будущность»... И далее он говорит о том, что в Сибири необходимо реорганизовать суд, открыть высшее учебное заведение, проложить дороги. О том, что этот край губят корыстные и невежественные правители.

«Сибирь... с увеличением народонаселения, с посеянными в ней семенами, — писал декабрист Розен, — обещает... счастливую и славную будущность».

Они хотели видеть Сибирь освобожденной от царских сатрапов, могучей, цветущей, свободной — увидеть плоды на дереве, выросшем из тоненькой веточки, возвращенной когда-то в каземате, увидеть ягоды, собранные с тюремных кустов, увидеть университеты и школы, машины на ее полях, возрожденную промышленность.

«Сама природа указала Сибири средство существования и ключи промышленности, — писал Александр Бестужев-Марлинский. — Схороня в горах ее множество металлов и цветных камней, дав ей обилие вод и лесов... она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов».

В годы сталинских пятилеток Сибирь и стала ею. За живое предчувствие будущего, за готовность рисковать жизнью и мужественно трудиться для его приближения чтит память декабристов весь наш народ, вся страна.

«Мы по неперемennomу закону оставляем в наследство идею для руководства новому поколению, — писал из Сибири декабрист В. Раевский, — и эта идея и растет и будет и должна расти, и никакие препятствия не сожмут ее... и потому будущность наша светлая». В самом деле, каждый советский школьник знает имена декабристов, знает наизусть слова В. И. Ленина о том, что «лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ»<sup>1</sup>, и что «их дело не пропало»<sup>2</sup>.

«Их дело не пропало» — их помнили и помнят во всей нашей стране и там, где они отбывали наказание, — в Сибири. «Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило», — пророчески писал Басаргин. И действительно, во всех воспоминаниях сибирской интеллигенции, которой любовно помогали расти декабристы, во всех записях воспоминаний старожилов-бурят и сибирских крестьян громко звучит это «сердечное спасибо».

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 295.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 14.

«Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобретали необыкновенную любовь народа», — свидетельствует их современница-сибирячка, близко наблюдавшая жизнь изгнанников на поселении. Осматривая в шестидесятых годах опустелые казематы, где когда-то томились декабристы, посетители украдкой вытаскивали гвоздики из стен — себе на память. А 26 декабря 1950 года, в тот день, когда вся наша страна отмечала 125-летний юбилей восстания декабристов, школьники Петровска торжественно возложили венки на могилы И. Горбачевского и жены Никиты Муравьева — Александры Григорьевны. Бережно хранятся в музеях и архивах Сибири портреты, рукописи и другие вещи, принадлежавшие декабристам или сделанные их руками. В Кяхтинском краеведческом музее можно увидеть стол работы Михаила Бестужева и несколько небольших картин, исполненных кистью Николая. В Ялуторовске, в том самом домике, где когда-то помещалась устроенная Якушкиным школа, — попрежнему раздаются детские голоса: там открыт детский дом. В домике Матвея Муравьева-Апостола устроен музей декабристов. В городе есть улицы, носящие имена Якушкина, Пушина и Оболенского. В Иркутске есть Волконский переулок и в переулке стоит деревянный двухэтажный дом с чугунной мемориальной доской на стене: «В этом доме жил декабрист Сергей Григорьевич Волконский». Районная библиотека в Олонках носит имя В. Ф. Раевского. На том месте, где стоял когда-то дом декабриста, — теперь школа-десятилетка. В старом саду вокруг школы шумят деревья, посаженные руками Раевского, — высокие ели, тенистые акации, а под деревьями летом работает юннатский кружок: ребятам не терпится принять участие в гигантской работе взрослых, успешно выращивающих в Сибири озимую пшеницу и плодовые деревья, которые раньше росли только на юге России.

Среди многочисленных улиц города Читы, одного из культурных центров советского Забайкалья, есть и «улица Декабристов».

В Читинском областном музее сохранились книги, принадлежавшие когда-то узникам, шкатулка Марии Волконской. Хорошо, что можно постоять возле этих вещей и посмотреть на них, вспоминая о страданиях и подвигах тех, кто касался их когда-то своими руками... Зато казематы в Чите не сохранились, и на Петровском заводе, в городе металлургов и лесорубов, студентов и шахтеров, среди



новых зданий, среди домов для рабочих, библиотек, санаториев, школ тоже не осталось и следа от стен каземата. Угрюмое желтое здание без окон давно снесено, и на его месте выстроена школа. А убогие цехи прежнего завода, который 120 лет назад переоборудовали Николай и Михаил Бестужевы, Горсон и Арсеньев, еще стоят. Они кажутся низенькими, жалкими избушками рядом с могучими корпусами гиганта Забайкалья — Петровск-Забайкальского металлургического завода. 5 августа 1950 года мартеновскому цеху завода, когда-то убогому, а теперь огромному и мощному, присвоено звание «лучшего сталеплавильного цеха Советского Союза».

«Если патриотизм есть преступление — я преступник, — настойчиво заявлял своим судьям декабрист В. Раевский. — Пусть члены суда подпишут мне самый ужасный приговор — я подпишу приговор».

Советский народ давно уже оценил подвиг замечательных революционеров XIX века — великих патриотов—декабристов.

